

Елена Зелинская



ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ

Путешествия. Приключения. Возвращения

Елена Зелинская

**Долгая память.
Путешествия. Приключения.
Возвращения (сборник)**

ТД "Белый город"

2016

УДК 82-4
ББК 84-44

Зелинская Е. К.

Долгая память. Путешествия. Приключения. Возвращения
(сборник) / Е. К. Зелинская — ТД "Белый город", 2016

ISBN 978-5-485-00551-1

В сборник «Долгая память» вошли повести и рассказы Елены Зелинской, написанные в разное время, в разном стиле – здесь и заметки паломника, и художественная проза, и гастрономический туризм. Что их объединяет? Честная позиция автора, который называет все своими именами, журналистские подробности и легкая ирония. Придуманные и непридуманные истории часто говорят об одном – о том, что в основе жизни – христианские ценности.

УДК 82-4
ББК 84-44

ISBN 978-5-485-00551-1

© Зелинская Е. К., 2016
© ТД "Белый город", 2016

Содержание

Повести и рассказы	6
Дом с видом на Корфу	6
Глава 1. Дарреллы и другие звери	6
Глава 2. Рекомендовано Гомером	7
Глава 3. Корабли Одиссея	13
Глава 4. Навстречу утренней Авроре	17
Трое с острова Отчаяния	23
Глава 1. Отшельник	23
Глава 2. Боец	35
Глава 3. Мученик	43
День военно-морского флота	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Елена Константиновна Зелинская
Долгая память
Путешествия.
Приключения. Возвращения

© Зелинская Е.К., текст, 2016
© Ватель Е.И., дизайн обложки, 2016
© Издательство «ДАРЪ», 2016
© ООО ТД «Белый город», 2016

* * *

Повести и рассказы

Дом с видом на Корфу

Глава 1. Дарреллы и другие звери

Тень наползает медленно, тесня жар к горизонту. Сначала накрывает оливковую рощу, вертикальную, как театральная декорация, потом – два ряда домиков, каменистый пляж и полосатые зонтики. Темное покрывало стремительно натягивается на залив, круглый, как подкова, зажатая с двух сторон скалистыми берегами. Теперь можно не жмурясь смотреть, как переваливаются с бока на бок яхты и задирают носы катера. Вдали, закрывая выход в море, розовеют в уходящем солнце холмы Албании. Цикады смолкают мгновенно, как прихлопнутые.

Фонари бросают на залив жидкие полосы света, вода дрожит в них, змеится.

Сегодня воскресенье, и ко всем трем заведениям Калами – так называется наша деревня – тянутся катера. На Корфу традиционно отдыхают англичане. Они и в отпуске выглядят, словно исследуют дебри Африки: сосредоточенные решительные лица, бриджи, высокие зашнурованные ботинки, шляпа с широкими полями надвинута на лоб:

– Dr. Livingstone, I presume?

На столиках в таверне зажигаются огоньки, и тень от спиртовки цветком ложится на скатерть. Терраса заполняется, и можно занять столик у воды, вынырнув из-под спасительной в полдневную жару крыши, которая увита мускулистыми ветвями акации.

– Акации больше ста лет, – говорит хозяйка, не поднимая головы от старомодного аппарата, и отбитые щеки трещат, как цикады, – она еще при Дарреллах была.

«Белый дом, который стоит на утесе, как игральная кость» – эта цитата большими буквами написана на стене таверны прямо над кассой.

Белый дом дважды ввели в мировую литературу братья Дарреллы.

«Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла – мальчика, который ловил стрекоз на острове Корфу, интеллигентные читатели моего детства знали по имени Джерри. «Дом Просперо» Лоуренса Даррелла – роман об истории острова и об истории любви к нему – не переведен на русский язык, наверное, до сих пор.

Две книги – две жизни. В одно время, в одном месте сплетаются и расходятся миры мальчика и взрослого. Один – земной, натуральный, пахнущий нагретой травой и морской тиной, он населен птицами, водяными паучками и ящерицами; там из маминой кухни несутся запахи перца, базилика и чеснока, а в маленьких норках шевелятся прозрачные скорпионы.

Другой – царит рядом. В нем лондонский хлыщ и интеллектуал смотрит с ночного балкона на бесшумные звезды, небрежно обсуждает с друзьями этимологию слова Корфу и на рассвете, склонившись за борт рыбацкой лодки, бьет острой палкой осьминога.

Белый дом, в котором семья Дарреллов поселилась накануне Второй мировой войны, теперь гостиница. На первом этаже – таверна, к ступенькам, которые спускаются прямо к воде, поминутно причаливают лодки. На камнях, исхоженных и прославленных обоими братьями, загорают туристы. На входе в дом, с той стороны, где дорога идет по краю утеса и виден лишь только один этаж, висит табличка в виде раскрытой книжки: справа – Лоуренс, склонившийся над рукописью, а слева – десятилетний Джерри.

Повесть «Моя семья и другие звери», написанная младшим Дарреллом, была моей любимой детской книгой. Остров посередине Средиземного моря, где можно держать дома пеликанов, а лотосы плавают на поверхности соленого озера, казался мне таким же сказочным, как Солнечный город с Незнайкой и его друзьями, а мальчик Джерри со своим терьером искал приключений в одной компании с Томом Сойером и Геком Финном.

Не только я, даже мама считала историю ненастоящей и только качала головой над тем местом в книжке, где объяснялось, что миссис Даррелл, разведясь с мужем, выбрала для проживания семьи остров Корфу из-за его дешевизны.

Читаю старшего Даррелла – и словно заново, взрослая, возвращаюсь в знакомые с детства места. На остров, населенный букашками, про который рассказал мне Джерри, входит интеллектуальная жизнь литератора, и его горизонты наполняются изяществом ассоциаций и изысканными, почти придуманными лунными ландшафтами. Люди тоже иногда появляются в «Доме Просперо», как называет Корфу в своем романе старший брат. Вот натуралист и естествоиспытатель Теодор Стефанидос. Я узнала его сразу: в моем детстве он учил Джерри ловить пауков на приманку и подарил любознательному мальчишке микроскоп. В мире старшего брата Теодор лечит крестьян от малярии, читает медицинские фолианты при свете луны и слушает слепого гитариста в компании таких же, как он, космополитов в баре на площади Керкиры.

Оторванные от мирового литературного процесса, мы не только не читали многого – даже читанное ускользало, только будя воображение. Потерянный довоенный мир, о котором вспоминает в Египте Лоуренс Даррелл, бежавший с оккупированного немцами острова, для нас был и вовсе незнаком. В нашем довоенном мире звучали марши и выстрелы, идиллия деревенских усадеб, если и была, осталась еще за прежней, Первой войной. Мимо нас незаметно проскользнули Коко Шанель, автомобили с медными клаксонами, негритянский джаз, Берти Вустер, океанские лайнеры и хрупкие надежды.

Как они тосковали по утраченному времени: вино из одуванчиков, маленький принц, птица пересмешник, гаитянки с цветами в волосах...

По оливковой роще бежит десятилетний Джерри с сачком и удочкой, тридцатилетний Лоуренс на балконе Белого дома слушает, как разбивается о скалы безупречная голубизна Ионического моря и трещат быстрые, как сердцебиение, цикады.

Я и правда не поверила своим глазам, когда прочитала, что можно снять квартиру в доме, который стоит на утесе, как игральная кость. Будто мне предложили провести лето в Зурбагане.

Муж, не споря, согласился. А что плохого?

Глава 2. Рекомендовано Гомером

1

Вечером погас свет. Точнее, не зажегся. Не зажглись фонари вдоль пляжа, не включились лампочки на верандах, вывески на магазинчиках, не засветились желтыми пятнами окна вилл на высоком оливковом склоне.

– Обрыв в горах, – пояснила Дарья, хозяйка Белого дома, – при таком ветре неудивительно.

– Сирокко? – вспомнила я единственное известное мне название южного ветра. Дарья пожала плечами и, склоняясь над каждым столиком, зажгла спиртовки.

В соседнем ресторане, собственности компании «Томас Кук», которой, кстати, принадлежит половина немногочисленных деревенских гостиниц, загудел дизель.

Есть за границей контора Кука,
И если вас одолеет скука,
И вы захотите увидеть мир...

Темнота наступала быстро, слизывая краски. На албанском берегу завидной россыпью сверкали огоньки, изредка серую массу залива перечеркивал светлячок катера, и высоко, на трассе, укрытой оливами, проскакивали фары, появляясь и снова исчезая за деревьями.

Я захлопнула бесполезную книгу, Толя закрыл погасший ноутбук, и мы вышли на улицу. Ветер, и правда жаркий, шумел и гнул деревья. Пальма, похожая стволом на огромный ананас, размахивала своими широкими и плоскими листьями, словно руками, словно танцевала, не сходя с места. Остро пахла акация.

– Ночью будет гроза, – сказал муж, и, не сговариваясь, мы повернули к магазину. Продавец, небритый седой грек, сидел на ступеньках, прислонясь к стене и широко раздвинув колени. Взяв фонарик, он тонким лучом прошелся по сумрачно блестящим винным рядам и сунул в карман бесформенных штанов три евро.

Корфианские вина, густые и горькие, окутаны мифами. «Феакс», который твердая Толина рука разливает по бокалам, когда мы сидим в темноте на балконе, упоминается в Илиаде; торжественный гекзаметр под названием подтверждает истинность, а вкус – бесспорность.

– Рекомендовано Гомером! – произносит Толя, уважительно разглядывая этикетку.

Странно, но при таком ветре нет сильных волн. Море, как гигантская грудная клетка, вздымается всем объемом и опускается снова: вдох – выдох, вдох – выдох.

Все сумрачно и замкнуто, как в раковине. Кажется, что небо куполом накрывает нашу низину, опираясь краями на Албанские холмы и полукруг береговой линии.

– Любопытно, что Лоуренс Даррелл, – поддерживая праздный разговор, заметила я, – не считает корфиотов религиозными, скорее полагая местных крестьян суеверными.

– Протестанты не доверяют чудесному. То, что они считают невежеством, скорее является избытком воображения, не подкрепленного материалом. – Толя встал и облокотился на перила балкона. Он так потемнел от загара, что даже на расстоянии вытянутой руки я вижу только его силуэт. Впрочем, мне необязательно видеть его, чтобы знать, как он выглядит. Догадываюсь, что ему необязательно слышать меня, чтобы знать, что я скажу.

Что-то белое, шумное вдруг вылетело из-за угла дома и пронеслось мимо нас. Он даже отпрянул от неожиданности:

– Смотри, сова!

– А почему ты решил, что это сова?

– А кто еще это может быть? Размером – как кошка, а голова – круглая и ушастая.

– Небось еще Дарреллов помнит, – я перегнулась через перила, пытаясь разглядеть в темноте литературный персонаж. Но птица уже слилась с тенью. – А вдруг это калликанзарос?

– Кто?

– Дух дома, что-то среднее между маленьким сатиром и домовым. У него копытца и острые ушки, он портит молоко и мелко пакостит. Крестьяне верят, что под Рождество все калликанзаросы подземного мира собираются вместе и пият гигантскую сосну, ствол которой держит земную твердь. Каждый год они почти достигают успеха, и только возглас «Христос воскрес!» спасает всех нас от падения, восстанавливает дерево и выталкивает всю эту ораву в реальный мир. Очень напоминает «Ночь перед Рождеством».

– А как еще бесу подцепить крестьянина? – Толя снова расположился в плетеном кресле и на ощупь нарезал перочинным ножиком брынзу. – Он живет простой жизнью. У

него железа, быть может, два с половиной килограмма на всю семью. Все свое, домотканое, еда – хлеб и оливки, вода – из источника. Почти как в монастыре. Вот только и остается – воображение.

– Настоящих крестьян, наверное, и здесь уже не осталось, – я протянула руку и сунула в рот влажный кубик сыра. – С тех пор как англичане провели на острове водопровод, построили дороги и научили местное население играть в крикет, старые боги умерли. «Амуры и Психеи все распроданы поодиночке», и не кому-нибудь, а представителям туристических агентств.

Золотые дорожки упали на водную гладь, за спиной зашумел вентилятор, и окна вспыхнули одновременно на всем склоне, словно свечи на новогодней елке.

– Я окунусь перед сном?

– Я спущусь с тобой.

Впереди, взявшись за руки, бежали наши тени.

Длинные и молодые, почти как мы.

2

Отсутствие кошелька мы обнаружили на горе. На самой верхушке, которую венчала железная конструкция, похожая на Эйфелеву башню. На фоне стройного носителя связи монастырь выглядел приземистым и суровым, каждый из них, однако, по-своему тянулся к небесам.

Дорога-серпантин подняла нас на самую высокую точку Корфу. Признаться, я и так высоты боюсь, а уж когда наш микроавтобус начал наяривать повороты, проходя в десяти сантиметрах от обрыва, то закружилась бы голова и покрепче моей. Однако вид искупал, еще как искупал, он просто купался в голубизне и зелени, плавными холмами, покатыми каменными волнами давно застывшей лавы стекая к прозрачной воде.

Чем выше мы поднимались, тем гуще смыкались деревья, ствол к стволу, крона к кроне, образуя густое и непроходимое пространство, пронзаемое копьями кипарисов. Оливы, венецианское наследство, коих на Корфу великое множество, старели на глазах. Их витые, словно изморенные стволы окружены были сетями – неводами для ловли плодов. Богаче становились и виллы. Похожие на собачек гипсовые львы охраняли портик, ступеньки и светлый проблеск бассейна в глубине сада. Каждую встречную машину приходилось пропускать, прижимаясь к изгороди, и ждать, пока та не покинет деревню и не освободит дорогу. Опустив на колени большие руки, у порога, как в сказке, сидели старик со старухой, и тень виноградных лоз со светящимися изнутри кистями пестрела на их просторных одеждах. Дорога уводила вверх и становилась круче.

Гора Пантократор плыла над островом, обнажая перед нами все его географические изгибы.

Вот тут-то Толя и обнаружил, что забыл кошелек. Мы обхлопали, виновато поглядывая друг на друга, все карманы и обшарили сумки. Толя, включив фонарик, – уж лучше бы он забыл фонарик! – заглянул под сиденья микроавтобуса. Единственной находкой (в заднем кармане коротких холщовых штанов) оказалась моя заначка в размере десяти евро. Десятка, честно выложенная на соломенный стол маленького кафе, дрогнула под легким ветерком. Я быстро прихлопнула ее ладонью. Как обычно в таких случаях, всем сразу захотелось пить. Мы попросили стаканчик холодного кофе и распили его на троих. А впереди нас ждал целый день путешествия!

– Ребенок останется голодным! – с леденящим родительское сердце ужасом произнесла я. Муж помрачнел и тревожно взглянул на ребенка, словно тот уже изнывал от голода.

– Да я вовсе не хочу есть, – возмутился ребенок.

– Это пока, – многозначительно поправила я. Толя помрачнел еще больше.

Собственно, называть ребенком этого симпатичного молодого человека можем только мы с мужем. Он присоединился к нам на несколько дней, оторвавшись от своих взрослых дел, и любезно изображает из себя – нам в утешение – мальчика лет десяти. Снисходительно лежит на пляже, читает что-то умное в разогретом на солнце планшете; сорвавшись вдруг, бежит в воду, и только темный затылок виден нам далеко у линии буйков. А мы ждем на берегу. Ничего, мы умеем его ждать. Легко подхватывая любую идею, он ползает с папой по голубым пещерам, пьет, присев со мной на траву под миртовым деревом, «пимс» – мой культовый коктейль с огурцом и мятой – и терпит наши глупые шуточки типа: «Не купить ли мальчику сачок?»

Сейчас он тоже чувствует себя смущенным – так вошел в роль, что не догадался взять с собой сумку.

– Давайте я быстро съезжу в Белый дом за деньгами, – предлагает он.

– Один?!

– Вы что, вправду забыли, сколько мне лет?

– Зайдем сотню у Яниса, нашего водителя! – примирительно предлагаю я. – Вечером, когда он нас привезет в гостиницу, отдадим!

Янис, услышав нашу необычную просьбу, только покачал залысинами: у него больше двадцатки за раз и не бывает. Однако в стороне не остался и выступил с предложением занять деньги у друга, который как раз и живет в той деревне, где у нас по плану намечен обед. Водитель с энтузиазмом кинулся названивать по телефону, а мы трое, вздохнув, отправились осматривать монастырь, раз уж приехали.

Скажу сразу, сотня евро в Греции на дороге не валяется. Отец семейства, чем-то напояв нам Кису Воробьянинова в третьей позиции, патетически заявил, что он никогда не оставит нас без средств к существованию. Мы спорить не стали. Высадив основной состав в намеченной деревушке, он развернул микроавтобус, точнее, микроавтобус развернул Янис, и они поехали обратно в Калами. Если кошелек не забыт, а потерян вместе со всей наличностью и карточками, – напомнил Толя, – у него в чемодане найдется припрятанная закладка.

Мы вдвоем остались гулять и осматривать деревню Перия.

Перия-периферия. Вот, произнесла это слово, и теперь оно ко мне привяжется. Буду до конца дней вспоминать деревушку под этим названием, сочиню рассказ, как мы оказались на периферии истории, и буду назидательно искать корни привычного русского слова в глухой греческой глубинке. Кончится тем, что поверю сама.

Знак на въезде оповещал, что Перия охраняется ЮНЕСКО.

Две-три неровные улицы, полуразрушенные церкви с плоскими колокольнями, десяток каменных домов, крытых черепицей, пара таверн, увитых разноцветным виноградом, тропинки. Сухо, тихо. Потрескавшиеся ступеньки, ведущие в никуда. Пока я отдыхаю, привалившись спиной к теплой каменной ограде и вытянув вперед ноги, мой милый спутник уже дважды обежал деревушку, сад и громоздящиеся чуть поодаль, за деревьями, развалины. Наконец, и сам устал и присел рядом со мной, и развлекает меня беседой, как большой. Перед нами в ярком солнечном свете лежит Эллада. Она пахнет полынью и медом.

– Греция архитипична. Здесь дом – это архетип дома. Четыре стены, очаг, окна со ставнями и черепички, хранящие форму колена. Если Рим – это модель порядка, то Греция – это модель жизни. Миф – модель человеческих отношений. Вон, возьми Медею. Детей погубила, лишь бы насолить мужу.

– Первозданна.

– Первосоздана. У Платона есть что-то вроде того, что здесь можно видеть Бога с его компасом и циркулем. Будто Он махнул рукой и сказал: пусть будет дом. А остальное вы как-нибудь сами. И стал дом.

Я поднимаюсь, опираясь на его руку, и мы бредем дальше по тропе вдоль серого камня домов.

– Должно быть, богатое было местечко: восемь церквей.

– По церкви на семью.

– На первый взгляд все выглядит так, будто ничто со времен Одиссея не двинулось с места. А приглядишься: на холме – укрепленные камнями террасы, ухоженные аллеи, одинаково подстриженные купы. Тысячи лет этот пейзаж одомашнивали. А он все равно как только из-под руки вышел.

Арка над входом в церковный дворик скошена набок. Проход в заброшенный дом зарос кустарником. Видно, что сад проник во влажное пространство, занял его целиком и буйствует впотьмах. За живой изгородью в три ряда стоят голубые ульи, похожие на тумбочки. На каждом сверху лежит белый камень, и настырно жужжат пчелы. Пожилая гречанка с мокрой тряпкой на голове, слабо шевельнувшись на плетеном стуле, кивает на банку с медом. Мы вежливо крутим головами: знала бы она, как низка наша покупательная способность.

– Грецию надо оставить в покое. Вернуть им драхму и ничего не навязывать. И пусть ЮНЕСКО охраняет не колокольни, не развалины и колонны, а образ жизни, – выношу я решительно свой вердикт и получаю полную поддержку от подрастающего поколения.

У поворота на парковку мелькает знакомая голубая майка. Мы машем руками, как матросы, завидевшие берег, и тычем пальцами в сторону крытой террасы над обрывом.

– Ну что, – кричу я издали, – забыл или потерял?

– Забыл! – И Толя гордо потрясает в воздухе черной кожаной сумочкой.

Кубики льда бренчат в кувшине, а струйка золотого масла течет по ломтю губчатого сыра.

Какое удовольствие выговаривать греческие слова: мусакас, стифадо, мидия саганак!

На шестом названии хозяин таверны, который сочувственно кивает смоляной головой в такт нашим лингвистическим усилиям, перестает пижонить и вынимает из кармана блокнотик. На восьмом – с интересом оглядывается на вход, подозревая, видимо, что к нам сейчас присоединятся еще трое-четверо едоков.

Нет, уважаемый, больше никого не будет, это мы кормим ребенка!

– Мы кончим тем, что будем купать тебя в ванночке! – повторяет папа избитую шутку.

– А я буду махать руками и кричать: «Щипет, щипет!» – покорно улыбается ребенок и разливает по бокалам рецину.

Рецина пахнет сосновыми иголками.

3

Монастырь Святой Троицы (Агия Триада) далек от туристических маршрутов. Наш микроавтобус, свернув с трассы, срезал круги по гравиевой дороге, которая к вершине горы сузилась почти до тропинки, протоптанной, как видно, осликами. Припарковались на крохотном пятачке, и я даже заволновалась, что водителю негде будет развернуться.

Янис подошел к ограде, окаймляющей палисадник с подстриженными кустиками, и крикнул что-то, сильно подавшись вперед. Окно одноэтажного домика распахнулось. Оттуда высунулся смуглый кудрявый монах в квадратных очках. Мы скромно встали у арочного входа в монастырь. Лопухий щенок с носом в виде маслины достойно развлекал нас, пока шло совещание. Наконец, весело улыбаясь, из дверей домика появился игумен. Курчавая ассирийская борода, черные с серебром волосы плетеными косичками уложены на затылке, худощавое вытянутое лицо с лохматыми бровями – отец Афанасий, казалось, сам был списан с древней иконы.

Монастырь лежал на вершине горы, как корона. Игумен охотно провел нашему семейству небольшую экскурсию. Темные, неясные лики на знаменитых фресках с источенными краями глядели так живо, что казалось, это не мы, а они рассматривают нас. На полированном дереве высоких стульев, вжатых в стены, играли блики лампы, а прохладное пространство пахло старой штукатуркой и тайной.

Мы вышли на свет. Отец Афанасий исчез и вернулся через минуту, неся поднос с четырьмя запотевшими стаканами и блюдечком с печеньем.

– Вода, – пояснил он, – из монастырского источника, а печенье, по случаю пятницы, приготовлено без масла.

Мы хрустели угощением и пили сладкую воду, а отец Афанасий вел неторопливый разговор про землетрясение, которое сто пятьдесят лет назад повредило фреску со Святой Троицей, и про то, как трудно следовать путем Господним. По крайней мере ему, смущенно добавил он.

– А как кризис? – дежурно спросил Толя.

– Кризис в душе, – ответил монах.

Посоветовавшись, мы робко попросили отца Афанасия принять скромное пожертвование. Он замахал руками: я вас как гостей принимаю, вы мне ничего не должны!

– Ваши фрески принадлежат и нам, – уместно вставил младший член семьи.

– Ну ладно, – согласился отец Афанасий, – опустите в ящик.

Мужчины задержались у колодца, расспрашивая игумена, как на такую высоту поступает вода, и тот с видимым удовольствием показал им устройство древнего механизма. Наконец мы двинулись к автобусу.

Отец Афанасий снова исчез и появился с иконой Святой Троицы в руках и пасхальным куличом в серебряной фольге, перевязанным белой лентой с надписью: «Изготовлено в деревне Нимф».

– Возьмите с благословением!

Мы поклонились.

Рыжий щенок из вежливости пробежался за автобусом до поворота.

4

Скала Святого Ангела разрезала пространство ровно по диагонали.

От верхнего угла вниз, сливаясь в единое целое, треугольником стояло голубое полотно неба и моря, а снизу вверх поднималась серая громадина камня с короной крепостной стены на макушке.

– Ты полезешь наверх, к замку? – спросил муж для проформы.

– Ни в коем случае, – я в ужасе замотала головой. – Я подожду вас здесь, внизу.

Высоты я боюсь до паники. Колени немеют, к горлу подкатывает тошнота, и какая-то неведомая сила тянет меня вниз. Короче, фобия. У меня вообще их много. Например, клаустрофобия. Ее я обнаружила у себя, когда спускалась по гигантским ступенькам в римские катакомбы. Я почувствовала, что не могу дышать, развернулась и кинулась обратно, в то время как вся наша компания оживленно потопала дальше, даже не заметив моего отсутствия. А вот другую фобию, название которой я так и не могу запомнить, знаю за собой с детства. Боюсь пауков. До жути. Вот сейчас, например, я, для полного погружения в корфианскую действительность, смотрю вечерами британский сериал по книге «Моя семья и другие звери». Каждый раз, когда Джерри Даррелл, лежа на животе, ворошит нору какой-нибудь ползучей пакости, я закрываю глаза и отворачиваюсь, причем в этом-то фильме отворачиваться мне приходится чаще, чем в триллере про оживших мертвецов. Ну да бог с ними, с фобиями.

Внизу – это тоже довольно условное понятие. Таверна, укрытая парусиной, стояла прямо на краю обрыва, приблизительно на высоте пятиэтажного дома. Подо мной над прибоем летали ласточки, разворачиваясь почти под прямым углом.

Я попросила парнишку в белом фартуке принести мне кофе по-гречески с неизменным стаканом холодной воды и, закинув голову, наблюдала, как две фигуры в одинаковых майках и кепках, до смешного похожие друг на друга каждым движением, мелькали между деревьями. Схожи они, конечно, необычайно, если бы не седеющие виски у старшего, и некоторая скованность движений, и жесткие складки у рта, которые я, быть может, и не замечала бы, не находясь рядом его молодая копия с такими же, но мягкими чертами и безукоризненно черной тенью модной небритости на подбородке.

И вот я сидела, потягивала кофе из крохотной чашечки и глядела, как мои исследователи, поднимаясь по тропинке все выше и выше, добрались наконец до крепости. Твердыня Святого Ангела воздвигнута была чуть ли не в Темные века властителем из византийской династии Комниных. Нравы были просты, и вещи называли своими именами: построил Михаил, второй деспот эпирский. Крепостной двор обнесен могучей стеной, к которой снаружи прижато строение, видимо, подразумевающее дополнительное препятствие для осаждающих.

Осмотревшись по краям утеса, они долго топчутся у ворот. Понимаю: закрыто. И вдруг – я даже в первую минуту рот раскрыла от изумления – маленькая фигурка в белом быстро, как ящерка, перебирая загорелыми руками, поползла вверх, по вертикальной стене.

Я в ужасе выхватила телефон:

– Толя, ты что! Куда ты смотришь! Как ты мог ему разрешить!

Снизу вижу, как он развел руками: сама попробуй ему что-нибудь не разрешить!

– Да ты не бойся! – сделал он тщетную попытку меня успокоить. – Это, наверное, снизу кажется, что здесь отвесно. На самом деле вокруг стены большая площадка.

Пока мы препирались, белая фигурка поползла до крыши и нацелила камеру.

Если присмотреться, то можно различить меня на снимке под парусиновым тентом между небом и землей.

Глава 3. Корабли Одиссея

1

Три места на Корфу борются за звание последней стоянки Одиссея перед возвращением домой. Сам факт, что прекрасный город феаков, гавань и берег, где царица Навсикая полоскала белье, находились именно на Корфу, сомнений ни у кого не вызывает.

Слепой певец, чья точность в показаниях подтверждена раскопками, указал и расстояние до Итаки, и число гребцов, необходимое, чтобы довести корабль от царства Алкиноя до берегов отчизны дальней, и описание скалистой линии, которая приняла измученного скитаниями героя. Современные ученые говорят, что у древних греков не было представления о расстоянии и времени, так что доверять словам «восемнадцать дней» – наивно. Быть может. Но в людях Гомер разбирался, что важнее. Характер корфиотов, представленный в «Одиссее» во всем великолепии гекзаметра, словно наперед предсказал судьбу острова, приграбничного камня Европы.

Встреча Одиссея с царевной Навсикаей и отцом поражает миролюбием, несвойственным для всего гомеровского повествования, и отсутствием злодейства, объяснимого только языческим бытством. Ни циклопов, ни алчных красавиц, ни разбойников.

Милая девушка, которая даже при отце стесняется намекнуть о замужестве, царевна встречает на берегу голого, перепачканного тиной (его только что выкинуло на берег после крушения) Одиссея. Красавец, искатель приключений, практически бог – чем не жених? Но нет. Девушка отказывается от своих эгоистических намерений и прилагает все усилия, чтобы вернуть Одиссея на историческую родину. Ее отец, царь Алкиной, собирает народное вече, и на общем собрании (!) феаки решают отвезти героя на Итаку, что и делают, наделив его при этом богатыми дарами. Они точно знают, что навлекают на себя гнев вышестоящей инстанции, а именно Посейдона, весьма недвусмысленно запретившего им помогать страннику. Но милосердие сильнее страха наказания. Античным богам сантименты чужды: как только феакийские моряки возвращаются из несанкционированной поездки на Итаку, Посейдон превращает их корабль в скалу.

Эту скалу демонстрируют туристам в деревне Кассиопи, в бухте Палеокастрица и на въезде на мыс Канони.

2

Деревня Кассиопи находится буквально в получасе езды от Калами. Из нашего захолустья туда ездят за разнообразием магазинов, ресторанов и ночной жизни. Мы с Толей потащились туда за кефиром.

Кефир – это, попадая языком в ткань повествования, Ахиллесова пята нашего семейства. Мы его употребляем с пристрастием, достойным героев «Улитки на склоне». Продавщица из ближайшего к нашей подмосковной даче ларька, которая по настоятельной договоренности еженедельно оставляет для нас девять литровых бутылок, однажды не утерпела и робко поинтересовалась: «А что вы с ним делаете?» – и замахала руками как на заведомых лжецов, когда мы начали загибать пальцы: ну, литр выпивают собаки...

Оказалось, что на Корфу нехитрый кисломолочный продукт является дефицитом. Надеюсь, не надо объяснять, что мы точно знаем, как почти на всех европейских языках называется кефир: так и называется – кефир. Включая греческий, проверено на Пелопоннесе. В нашей деревушке нас не понимали ни в одном из трех магазинов. Тут нам еще понадобилось в аптеку. Хозяин Белого дома, предупрежденный заранее, нацелившись по своим делам в Кассиопи, захватил нас с собой. На разграбление города он дал нам двадцать минут. Четверть часа я потратила, изучая образцы греческой косметики. В оставшиеся пять минут мы выхватили из запотевшего стеклянного шкафа три бутылки, которые по виду отличались от тех, что наличествовали в каламских лавках, и побежали на улицу, где уже сидел на металлической перекладине наш рулевой, обмахиваясь кепкой.

Искомый напиток оказался только в одной из захваченных бутылок, которая почему-то была окрашена в черный цвет. Тщательно вымыв мгновенно освободившуюся посуду, я обошла всех каламских продавцов. Тетенька из крайней лавки повертела в руках бутылку, глядя с такой оторопью, словно ее принесло волной. Девушка из магазинчика, гордо именуемого «Супермаркет», покачала головой: англичане этого не пьют. Немолодой грек из ближайшей к Белому дому торговой точки задумчиво похлопал ладонью о прилавок: «Такой точно у меня нет, но для вас...» Он вышел из-за кассы, ловко обходя ящики с арбузами, пробрался к холодильнику, долго рылся, перебирал и, наконец, торжественно извлек из самых закров полулитровую емкость.

Мы вышли на улицу и вскрыли ее. Там оказалось молоко.

Больше мы в Кассиопи не были.

3

Утес, очертаниями откровенно напоминающий корабль, стоит прямо на входе в бухту Палеокастрица.

Можно представить себе, как оцепенели от ужаса родственники, народное вече и сам царь Алкиной с прекрасной Навсикаей, когда корабль с пятьюдесятью добровольцами обратился в камень, не дойдя до гавани пару миль.

В подножиях скал, окружающих бухту, зияют гроты, как раскрытые рты. В одном из них, на стенке, розовой каймой мха отделенной от светящейся голубизны, есть удивительная картина: сталактиты, стекая вниз к воде, застыли в форме изумленного девичьего лица.

– Это икона Навсикаи, – объяснил нам лодочник, путая английские слова, и развернул лодку к выходу из пещеры. – А ведь когда смотришь на нее с моря, даже трудно представить, что можно вплыть туда целиком. – И заглушил мотор.

До этого момента кажется, что не может существовать ничего великолепнее, чем сверкание солнечного света, отраженного в прозрачных водах залива. Но нет! Лазурная струя била со дна пещеры и растекалась пятном, которое, словно флюоресцируя, покачивалось на волне. Наш лодочник вынул из мешка куски булки, с размаху швырнул в лазоревый круг, и тот вдруг зашевелился, забился, как в панике, – это сотни рыбок, таких прозрачных, что хребтинки просвечивали сквозь их маленькие спинки, кинулись за добычей. Они метались, выпрыгивая из воды и взбивая фонтанчики. Волна билась о камни, которые низко нависали над поверхностью воды, и струйками стекала вниз, и они, эти струйки, оставались при этом голубого цвета!

Лодка вынырнула на свет. Плавсредств самого разного размера и толка, от катамаранов и катеров до прогулочных яхт и лайнеров, медленно, как во сне, пересекающих пространство, было столько, что, попробуй Посейдон превратить их всех в камень, образовалась бы новая гряда.

Про следующий грот Лоуренс Даррелл рассказывал в своем романе. Особенно неприятно было читать про стены, покрытые бурым шевелящимся слоем летучих мышей. Когда наша лодка втиснулась в этот грот, там ползали аквалангисты.

У входа в самую большую пещеру покачивалась деревянная платформа, на которой стояло несколько столиков. Полуголые посетители пили коктейли. Притороченные к краю платформы катамараны неуклюже тыкались друг в дружку носами, как псы, оставленные на привязи у дверей кафе.

На песчаном пляже, куда нас высадили после экспедиции по пещерам, народу было как в Сочи. Сбросив одежду, мы сложили ее кучкой у деревянного настила и кинулись в воду. Вода оказалась холоднее, чем в Калами.

По горной дороге покати́лся наш автобус вверх, в старинную деревеньку Лаконес, кружа меж скал и серебристых олив. Так высоко забирались корфиоты, чтобы кручи и камни служили им естественной защитой от пиратов. Не знаю как для пиратов, а для туристического бизнеса преград не существует. На самой высокой точке деревни, практически нависая над заливом, просторная терраса открывала райский вид.

В божественной гармонии лежали перед нами обе бухты, разделенные серыми скалами, волны зеленых холмов, утес у самого края земли и монастырь на его вершине, утопающий в цветущем саду. Белые игрушечные кораблики скользили по недвижной уходящей вдаль глади, крохотные и одинокие. Узенькая светлая полоска пляжа гребешком впивалась в кромку густой роши. Крыши прибрежных гостиниц, коробочки вилл, амфитеатр – все поглощало плотное, как шерсть, зеленое пространство. Людей и вовсе не было видно.

И лишь корабль Одиссея, могучий и величественный, плыл в сияющем свете.

4

У меня едва не случился приступ синдрома Стендаля. Говорят, что чаще всего он нападает на людей во Флоренции, когда изобилие красот пробирает до самых нервных окончаний и переливается через край возможностей человеческого восприятия. В таком состоянии больной может совершить непредсказуемые поступки: возненавидеть, например, картину и кинуться с кулаками на ее персонажей. Флорентийских экскурсоводов даже учат на специальных курсах, как в таких случаях оказать человеку первую музейную помощь.

На мысе Канони есть все. Здесь одновременно присутствуют Эллада, Византия, Венеция, имперская Британия и современная Европа.

Пальмы, пинии, туя с серебряными шишечками, мирт – это только то, что я знаю по названиям, а еще – покрытые красными, белыми, малиновыми, голубыми цветами невысокие деревья с круглыми кронами, которые в другой стране остались бы в лучшем случае кустиками; кактусы с лепешками, утыканными поверху круглыми пальчиками, как ступни циклопов; розовые персики, зеленые апельсины, лимоны, мелкие, как градины; алая герань в горшках на балконах и вездесущий виноград.

Даже революционный французский гарнизон, который задержался здесь всего лишь на несколько месяцев, успел оставить легкий, изящный рисунок лесенок и балюстрад, взбитых сливок в высоких стаканах и ступеней, сбегających с террасы по отвесному обрыву к набережной. И пушку, давшую название мысу, – Канони.

Зачем понадобилось приплетать сюда еще и историю с Одиссеем и выдавать Мышинный остров с миниатюрным византийским монастырем за очередной окаменевший корабль? Разве нарочно, чтобы подчеркнуть, что именно здесь, у выхода в Ионическое море, стояла когда-то античная гавань.

Залив, сама его поверхность, которая простирается во всей своей голубизне от обзорной площадки до лиловой линии горизонта, полон чудес. Узкий мост, ведущий на небольшой, заставленный гостиницами остров, отделяет от моря соленое озеро Халкиопулу. Когда-то здесь неугомонный Джерри Даррелл наблюдал за перелетными птицами и кормил пеликанов.

Теперь здесь аэропорт. Хитроумные наследники Одиссея сумели превратить такое обыденное дело, как взлет самолетов, в увлекательный аттракцион. Взлетная полоса, единственная, надо заметить, на всем острове, проложена по узкой насыпной косе, которая пересекает озеро. Муж с сыном застряли на террасе, наблюдая, как самолет, появившись из-за острова, медленно снижается, сначала оказываясь на уровне глаз, опускается ниже, летит прямо над заливом и приземляется, как кажется, глядя сверху, прямо на воду.

Когда мне удалось наконец оторвать их от этого захватывающего зрелища, мы спустились по растрескавшимся каменным ступенькам вниз, к причалу. В монастырь Богородицы Влахернской (Панагия тон Влахернон) ведут две дорожки: одна узенькая, бетонная, и вторая, сложенная, наверное, еще строителями храма из камней, как коса. Так и представляешь себе, как, подобрав подол рясы, сребробородый монах перебирается по ней – с камушка на камушек.

Пространство внутри храма оказалось таким маленьким, что в него одновременно могут зайти только два-три человека. Чудотворная икона Божьей Матери, украшенная серебряными табличками с изображением ног, рук, глаз и целых человеческих фигурок, – дань благодарности за помощь, которую получил по молитвам конкретный отчеканенный орган, – расположена была в глубокой нише, довольно высоко.

– Мне не дотянуться! Попробуй ты первый, – попросила я мужа.

– Вот, посмотри, специально для таких как ты. – И Толя показал на маленькую икону, которая, утопая в цветах, располагалась как раз на доступной для меня высоте.

– Вот так всегда и во всем, – проворчала я, – ты дотягиваешься, а я – нет.

Младенец, увенчанный серебряной короной, смотрел на меня укоризненно.

Мы взяли по свечке и поставили в открытый стеклянный ящик, похожий на аквариум. Дно было выложено мелкой галькой и покрыто водой. В ней отражались дрожащие огоньки.

Выйдя, мы наняли лодку, раскрашенную в яркие красно-сине-белые цвета, но такую маленькую и шаткую, что в нее было боязно ступить.

«Как удобно путешествовать в сопровождении двух мужчин», – подумала я, когда одна пара крепких рук приподняла меня и передала другой, такой же надежной.

Через пять минут мы ступили на берег Мышиного острова, где в гуще деревьев скрывался монастырь святого Пантелеймона. Во дворике у старого колодца девочка играла с собакой. Ох, как давно я не держала в руках мягкую лапку с коготочками!

– Как зовут твоего щенка?

– Бу-Бу.

Черепичная крыша, такая низенькая, что ее можно потрогать рукой, темные иконы с незнакомыми ликами, деревянный стол с россыпью сувениров: кожаными кошелечками, браслетами с блестящими бусинами, керамическими масляными лампами и картинками с белыми домиками и синим морем.

К каменной пристани причалил катер. Грек с короткой шкиперской бородкой и в белой фуражке с козырьком помахал нам бронзовой рукой:

– Это вы в Корфу-таун собрались?

Мы прибудем в столицу по всем правилам – с моря.

Глава 4. Навстречу утренней Авроре

1

Ребенок уезжал. Прощальный обед накрыли на террасе, на столе, застланном влажной белой скатертью.

– Муж сейчас вернется из Кассиопи, – сказала хозяйка Белого дома, – и он может отвезти вас в аэропорт.

Бледная Дарья – единственное незагорелое существо из всего деловитого греко-украинского семейства, владеющего ныне Белым домом. Пару раз, проснувшись до восхода и отворив дверь балкона, чтобы впустить утреннюю прохладу, я видела, как Даша спускается по ступенькам к маленькому деревянному причалу. Скинув халатик, она быстро плывет до буйка и обратно, выжимает длинные светлые волосы, сворачивает их жгутом на затылке и, застегивая на ходу пуговицы, скрывается на кухне, чтобы тут же появиться снова, неся в руках миску с крупно нарезанными кусками арбуза. Мужчины, бронзовые, как Одиссей, с одинаковыми короткими бородками и веселыми карими глазами – муж, отец и брат – стригут цветущие кусты, поливают дорожки, привозят на катере рыбу, газовые баллоны, тяжелые гладкие дыни и перекрикиваются друг с другом на бодрой мешанине суржика и благородного наследия Гомера.

Легким привычным движением Даша поставила перед нами блюдо с красным распаренным лобстером. Усы и лапки боевито торчали из зарослей гарнира.

– Рассказывала ли я вам, как первый раз ела омара? – я рассеянно ковыряла вилкой тугой панцирь. – В Нью-Йорке, в японском ресторане меня подвели к аквариуму, где шеве-

лились зеленые животные, и предложили выбрать любого на свой вкус. А я испугалась, что мне придется употреблять их, как и суши, которые я тоже видела впервые, сырыми!

– Это историю ты вспоминаешь каждый раз, когда видишь лобстера, – неосторожно сказал Толя.

– Я не слышал ни разу, – быстро соврал ребенок. Но было поздно.

– А хочешь, я расскажу историю, как вам в общежитие привезли бочонок черной икры и вы вчетвером месяц только ею и питались? Я эту историю слушаю каждый раз, когда подают еду! – Я скомкала салфетку и швырнула ее на стол.

– Я думаю, – Толя повернулся к Даше, которая деликатно молчала, складывая на поднос стопку освободившейся посуды, – минут через пятнадцать надо выезжать.

– Почему так рано? – возмутилась я. – Зачем нам два часа болтаться по аэропорту?

– Нам? – встрепенулся отъезжающий. – Только не вздумайте меня провожать. Я прекрасно доберусь сам. Ну пожалуйста, не надо.

– Все равно незачем торопиться, – насупилась я. – Еще полно времени!

– Ты же знаешь, какие могут быть пробки! Зачем рисковать? – стоял на своем муж.

– Схожу-ка я за рюкзаком, – мальчик не любил, когда мы ссорились. Он встал из-за стола и скорым шагом двинулся к ступенькам, которые вели в его номер.

– Дай ему спокойно уехать, – сказал муж, глядя в спину уходящему сыну. – Отпусти его, наконец.

Через минуту черноокий красавец появился в дверях с рюкзаком на плече и тревожно оглядел наши лица.

– Смирись, – сказал муж и накрыл ладонью мои пальцы, – он вырос.

– А я постарела, да?

В нашей семье сантиментов не дожدهшься.

– Мы же не станем тебя за это меньше любить, – беспощадно сказал муж.

– Ты собирался научить его водить катер, – мстительно проворчала я, – а сам даже в море ни разу не вышел!

– Я много чего не успел, – ответил он и отвернулся.

– Готов еще раз побыть маленьким, – предупредительно вставил ребенок. – Подарите мне на день рождения раскраску!

Я встала на цыпочки, схватив за уши, притянула к себе непокорную голову и чмокнула тонкую белую полоску между черными жесткими волосами и загорелым лбом.

– На самом деле, – правильно угадав момент, вставила Даша, опытный ресторатор, – у вас еще есть время на десерт.

– Даша, – попросила я, – сделайте что-нибудь особенное! Ваша мама печет такие замечательные греческие сладости!

Хозяйка Белого дома задумалась на секунду и, будто решившись, махнула рукой:

– Вчера вечером для себя пекли. Вроде пара кусков оставалась. Сейчас принесу: настоящий киевский торт!

2

Въезд к Керкиру перекрывали автобусы и полиция. Обогнув скопление машин у порта, мы вынырнули у поворота на старый город и остановились. Полицейский наклонился к открытому окошку и, подкрепляя слова жестом, махнул палочкой в сторону объездной дороги. Кивнув несколько раз для убедительности, таксист продолжил ехать не сворачивая. На дороге, которую положено было объезжать, скопилось столько машин, что двигаться дальше было совершенно невозможно. Мы вылезли, хлопнув дверцей.

– А ты найдешь дорогу к площади? – недоверчиво спросила я мужа.

– Конечно!

Телефон пискнул:

«Крестный ход уже на площади», – гласило короткое послание на экране.

Отец Максим, знакомый по Москве священник, который отдыхал с дочерью в соседней деревушке, пригласил нас пойти одной компанией на праздник святого Спиридона и, конечно же, приехал раньше нас.

Ускорив шаг, мы нырнули в тень узких улиц. Средневековое сплетение переулков и тупичков, крохотные, как шахматные доски, площади, – наверное, если без спешки, то мы разобрались бы в них и нашли дорогу, но сейчас каменные ступеньки на поворотах снова и снова выводили нас на одну и ту же улицу, пересеченную бельевыми веревками. К слову сказать, горожане так художественно развешивают для сушки белье, что трусы, простыни и сарафаны выглядят как неотъемлемое продолжение архитектурного ландшафта.

– Мы опоздаем! Нам будет не угнаться за ходом! Мы пропустим самое главное! – тереблю я мужа.

Еще поворот. Старинный венецианский колодец, резные цветы чередуются с львиными мордами, лепестки розовым сугробом прибились к камню. Из трещины выскочила ящерка и исчезла, вильнув хвостом.

– Святой Спиридон, – прыгая по ступенькам, бормочу я, – помоги! Так хочется успеть на твой праздник!

И тогда зазвучал колокол.

– Ты слышишь, – Толя радостно замахал руками, как мельница, – это на колокольне у Святого Спиридона звонят! Бежим на звук! Ты слышишь?

Еще бы не слышала!

Площадь Святого Спиридона полна народа. Греков легко отличить от нас, чужих на их празднике. Нарядные, приличные женщины с темными, убранными наверх волосами и яркими лицами, мужчины в рубашках с длинными рукавами и оливковыми шеями в расстегнутых воротничках, черноглазые, верткие, как плотва, дети.

Крестный ход стоит у начала улицы, ведущей к площади. Видно, как на углу, у поворота с набережной, сверкают золотом облачения и колышется поднятый высоко и вертикально саркофаг. Из открытых окон, как красные языки, висят ковровые дорожки. Про обычай украшать улицы изнутри домов в честь приезда короля я читала в средневековых романах. Голосов нам не слышно. Вместе со всей толпой мы следим за ходом событий, вытягивая шеи и камеры в сторону замерших фигур.

В первом ряду сверкает медью оркестр городской пожарной команды. Невидимый знак, и качнулись красные плюмажи на касках, и ударили барабанные палочки, и двинулись вперед белоснежные фигуры с огненными пятнами погончиков!

Лучше нашей позиции не найти: мы стоим ровно на углу площади, и мимо нас, как мимо трибуны, один за другим, сверкая, проходят оркестры, гремят барабаны, гудят трубы, всеми красками горят перья на круглых касках. Наконец, в одеждах, которые вызывают у меня в памяти слово «рубище», перепоясанные веревками, появляются хоругвеносцы. За ними в голубых, как небо, облачениях медленно двигаются священники с зелеными веточками в руках. Чернобородый митрополит с детской улыбкой кивает нам, словно мы все его старые знакомые. Носилки с золотым саркофагом качаются, как лодка на волнах. Вот они проплывают мимо нас. Солнце бьет в глаза, и только темный силуэт святого Спиридона виднеется сквозь стекло.

– Я здесь, я здесь! – кричу я, как Ассоль, и ныряю в круговорот и смешиваюсь с теми, кто идет за охраной, состоящей из двух статных моряков. Полицейский отодвигает меня локтем, но ему некогда, он сдерживает нажим толпы.

– Куда ты? – зовет муж, но я уже втиснулась в ряд, идущий прямо за мощами.

Крестный ход поворачивает на площадь перед храмом. К крыльцу церкви Святого Спиридона ведет короткая улочка, и мы замедляем шаг почти до полной остановки. Мне видно, как впереди, в открытые двери храма, опустив трубы, заходят друг за другом музыканты.

Я оборачиваюсь. Навстречу мне, заполняя все пространство площади, движется людской поток. Священники, горожане, туристы. Они не торопятся, подстраиваясь под общий неспешный ход, они пристально, не упуская ни на секунду из виду, смотрят на высокий узорный саркофаг, они веселы и сосредоточенны. Белые облака щадящим покровом скользят над непокрытыми головами.

Я вглядываюсь в толпу, ища родное лицо. И нахожу, и вижу, и не одно: навстречу мне, по улице, ведущей к храму, идут люди, которых я знаю и люблю. Вот в светлой рубашке, чуть жмурясь на солнце, идет Саша Архангельский, чуть дальше, с седеющей бородкой, – это Коля Сванидзе. Держа за руку маленького мальчика, прошел мой брат. С оливковой веточкой в руках идет среди других священников отец Алексей Уминский. Шелковый платок легкой волной закрывает лоб – Марина, родной человечек. Монахиня в высоком клобуке обернулась, засмеялась – матушка игуменья! Мой взгляд заметался: мои студентки в белых матросках, друзья, родные... У меня солнечный удар?!

Крепкие пальцы обхватили мое запястье:

– Нам надо выбирать. В сам храм не попасть, это точно.

Отец Максим с дочерью Лизой ждут нас у Листо-на. Листон – это та часть Керкиры, которую успели построить французы. Аркады с низко висящими фонарями и плетеными столиками выглядят как продолжение парижской улицы.

– Угадайте, что мы купили!

– Ну, судя по пакету, это какой-то напиток, – отец Максим с сомнением оглядывает нашу покупку.

– Лиза, твоя версия?

– Парфюмерия!

– Вовсе нет! Дерево! – торжествуя, я открываю бумажный кулек.

– Не может быть!

Все заглядывают в пакетик. Там, упакованный в бумагу с пупырышками, торчит из крохотного жестяного ведерка росток оливы с серебристыми листиками.

Оркестр пересек улицу, гремя медью.

– Видимо, пожарных надо было чем-то занимать в свободное время, вот их и вовлекли в филармоническое общество. Отсюда образовалась традиция духовым оркестрам носить пожарные каски, – замечает Толя, и я понимаю, что, поглядывая на веселое Лизино лицо, он сожалеет, что сын уже уехал. Я тоже сожалею, но в другом смысле: он же все-таки далеко не ребенок, а тут такая милая девушка, из такой приличной семьи...

– Как они смешно идут! – Лиза выставила в стороны растопыренные ладошки и прошлась вперед, переваливаясь, как уточка, и покачивая головкой, словно на ней был плюмаж, – очень похоже!

Мы все залезаем в машину и несколько минут ждем, пока она остынет. Дерево пристраиваем на заднем сидении, между мной и Лизой.

Отец Максим везет нас в деревушку, где они с дочерью останавливаются уже не первый год. Обедаем в таверне у самого синего моря. В тени олив, за кувшином розового вина, под плеск прибоя, натурально как греческие философы, ведем неспешную беседу. Дерево отнесли в комнату: там прохладнее.

– Батюшка, как можно отличить веру от суеверия?

– А какой мерой измерить? Нельзя выставить формальную шкалу и по ней определять: вера – суеверие. Для одного человека помолиться о здоровье, попросить успеха в делах, сохранить листик от мощей – будет шаг к небу, а для того, кто прикоснулся уже к поклонению

Богу в духе и истине, к опытному знанию, что искать нужно единого на потребу, тот же листик – шаг вниз.

– Лоуренс Даррелл, – вставляю я, – пишет, что корфиоты почитают святого Спиридона как главного покровителя и защитника острова, но относятся к нему как будто бы даже с некоторой фамильярностью. Вот, например, он передает рассказ моряка, который попал в сильный шторм и едва не утонул. Поняв, что он в опасности, моряк – по его словам – немедленно привлек к делу Спиридона, но святой, видимо, был занят другими заботами, и поэтому лодка перевернулась. У нас почти не знают старшего Даррелла, – продолжаю любимую тему, – а ведь он, между прочим, нобелевский лауреат.

– Не понимаю, почему ты упорно называешь его нобелевским лауреатом? – сердится Толя. – Я нашел полный список за много лет, и там нет его фамилии!

– Может, ты смотрел лауреатов премии мира?

Пока мы препираемся, отец Максим быстро нажимает кнопки айфона.

– Вы правы оба, – смеется он. – Лоуренс Даррелл действительно был выдвинут на Нобелевку по литературе, но не прошел по конкурсу!

У лодочного сарая дремали три грека. Один, в приспущенных красных трусах, возлежал на кушетке. Круглый, покрытый курчавыми волосками живот мерно вздымался и опадал. Другой спал в полосатом кресле, раскинув в стороны руки и доверчиво раскрывая миру беззащитную грудь. Третий расположился прямо на песке, прислонившись спиной к сараю и надвинув до подбородка замусоленный козырек.

– Э, насчет лодки, – я мотнула головой в сторону причоя, где покачивались три белых плавсредства. – До Калами нас не довезете?

Тот, который дремал в кресле, приоткрыл глаз и задумчиво почесал грудь.

– До Калами? – он замолчал, словно припоминая название деревни, которая находилась в десяти минутах пути на катамаране. – Нет, мы сдаем лодки только на целый день.

Он бессильно уронил поднятую для чесания руку и закрыл глаз.

Я вернулась к столику.

– Это вы заказывали такси на четыре часа? – спросил вдруг официант.

– Да, заказывали, сразу, как пришли, заказывали! – восторженно мы, пораженные, что такси появилось вовремя. – Неужели пришло?

– Нет, но я подумал, что пора позвонить. – Официант подхватил опустевшие тарелки. – Еще вина?

– Пошли купаться! – сказал отец Максим.

Выкидывая над водой руки, мужчины быстро поплыли к буйку. Я потопталась на мокрой гальке, глядя им вслед с вечной тревогой: ну вот почему обязательно надо заплывать так далеко?

«Впрочем, – подумала я вдруг свободно и расслабленно, – вдвоем не страшно».

И нырнула в теплую воду.

3

Я просыпаюсь раньше цикад. Дома, яхты, сады – все недвижимо, как театральная декорация, и я, зрителем расположившись на балконе, жду начала спектакля.

Первый звонок подает петух. Как настройка оркестра, звучат птичьи голоса. Солнце встает, выпуская розовые, как пальчики, лучи: вот она, розово-перстая заря! Зашевелились яхты, одна, другая... По очереди, куст за кустом, вступает хор цикад. Около двери Белого дома останавливается пикап, оттуда вылезает коренастый грек, неся на одной руке тунца, мокрого, с выпученными глазами. На камнях появляется первый пловец, потягивается во

всю ширь и с размаху сигает в воду. Веером разбрасывая белую пыль, несется катер с лыжником на полусогнутый ногах. С террасы тянет яичницей и беконом.

Мы уезжаем. Вещи собраны, такси заказано за два дня.

– Я искупаюсь напоследок?

Я сижу на теплом, не остывшем за ночь камне, обхватив ноги.

Муж вышел на берег, постоял немного, глядя на залив. Капли воды переливались на загорелой коже.

– Пора, – сказал он наконец, – пойдем. – И протянул мне руку.

Все стало ясным в белом свете дня, отчетливым и законченным, как замысел. Как божественный замысел.

Я увидела, явственно и спокойно, как однажды, в положенный нам день, он так же протянет мне руку и скажет:

– Пора. Пойдем.

Трое с острова Отчаяния

Глава 1. Отшельник

Плоский берег океана, полоса мокрого песка, вода шипела и пенилась у черных утесов. Вдали на скалах серой шапкой лежали густые заросли леса. Александр Селькирк стоял по щиколотку в жидкой песчаной массе, смешанной с галькой и темными водорослями. Он смотрел, как восточный ветер гонит белую громаду парусов шхуны «Кинк Портс» все дальше и дальше от острова. Судно шло тяжело, с низкой осадкой.

– С такой течью, – упрямо повторил Александр, – до материка не дойти, клянусь потрохами кашалота!

Похолодев, словно жаркий тропический воздух вдруг дохнул на него ледяным штормом, он со всей ясностью понял, что спорить не с кем. Он остался один.

Птицы шумно поднялись, кружась и крича, и тут же скрылись за редкими соснами. Все смолкло. Только прибой мерно грохотал о голые камни, и ревели тюлени. Услышит ли он когда-нибудь человеческий голос – пусть даже севший голос чертова капитана Стредлинга, с которым он разругался до драки? Или до конца жизни его слух будут наполнять только птичьи крики и жужжание насекомых?

Он побежал вперед, увязая в мокром песке, вытянул руки и крикнул что-то бессвязное, жалкое. Легкое воздушное течение принесло туман, и Селькирк, как ни силился, уже не мог разглядеть очертания корпуса и мачт уходящего в океанскую даль судна. Вздохнув, он собрал раскиданные на песке вещи, которые матросы выбросили из шлюпки на берег.

– На необитаемом острове будет безопаснее, чем на корабле с пробоиной и с таким бездарным капитаном, как ты! – крикнул он этому чванливому неучу, разодетому, как знатный идалго.

– Ах, ты хочешь остаться на острове? Оставайся! Заодно вспомнишь, как надо обращаться к капитану! – заорал черный от злости Стредлинг. – Боцман, шлюпку!

...Кремневое ружье. Нож. Фунт пороха. Пули. Огниво. Табак. Чайник. Навигационные инструменты. Библия. Псалтырь. Александр двинулся вверх по каменистому склону на опушку холма – там можно построить хижину и ждать. А ждать ему предстояло четыре года и четыре месяца.

* * *

Нет, пожалуй, в мире человека, кто бы в детстве не упивался приключениями знаменитого моряка, не помнил бы его друга Пятницу и печальный крик попугая: «Бедный, бедный Робин Крузо, как ты сюда попал?»

Что так цепляет в судьбе невольного изгнанника на острове отчаяния? Ведь не просто упорство, воля к жизни, находчивость. Ловкость, с которой Робинзон изготавливает зонтик – это мастерство ремесленника, какими были все жители восемнадцатого века. Любой из них, а не только сын башмачника, сумел бы при надобности разделать тушу козы, обработать и сшить шкурки так же легко, как каждый из нас может включить Wi-Fi.

Нечто значительное присутствует в этом необыкновенном образе. И у нас нет ответа, что именно, потому что мы, те, кто прочитал «Приключения Робинзона Крузо» в пересказе

для советских детей, знаем только мастеровитого покорителя природы. А весь мир знает другого человека.

Архипелаг Хуан Фернандес несколько столетий служил убежищем для мореплавателей. Обогнув мыс Горн, корабли останавливались здесь, чтобы пополнить запасы свежей воды и провизии. На трех кусочках земли в Тихом океане, в четырехстах милях от Южной Америки росли капустные деревья, на которых топорщились пучки белых листьев, по виду и по вкусу и вправду напоминающие садовую капусту. Моряки, которые подолгу переживали в тихой гавани штормовую погоду, посеяли в лесу репу, и она разрослась на несколько акров. Рыбу, которая водилась здесь в великом множестве, Александр не удил: без соли она просто не лезла ему в горло. Зато он варил бульон из крабов, которых было так много, что они прыскали из-под ног, как мыши, когда он шел по берегу. Тысячи коз бродили по холмам – и мясо, и одежда, и матрас. Из козьих шкур Селькирк сшил себе куртку, бриджи и шапку, протягивая нить через дырочки, которые он проковырял ножом. Видел бы отец, как он ловко управляет с кожами! Нож изнашивался, но тут ему крупно повезло: нашел на берегу обруч от бочки. Он раскалил железо в языках пламени, добытого трением, и заточил его камнем, как первобытный человек.

Он ни разу не натолкнулся на следы человеческой жизни, чему на самом деле был рад, поскольку дикарей опасался. Больше всего ему досаждали крысы, которые сошли на берег с кораблей и размножились до безобразия. Они грызли его одежду и даже ноги, пока он спал, до тех пор, пока Александр не поселил в хижине котов, тоже ссаженных с какого-то судна. Коты умеют одомашнить пространство, и мурлыканье пушистых клубочков, свернувшихся на лежанке, придавало уют грубо срубленной хижине. Расположившись на своей любимой поляне, той, что с видом залив, Александр учил кошек танцевать под шотландские напевы и сам не раз вскакивал и кружился с ними, притоптывая босой ногой с мозолистыми ступнями о мягкую траву.

...Археологи недавно обнаружили место, где жил Александр Селькирк, и площадку на вершине скалы, где он стоял, всматриваясь в горизонт. Рядом с ручьем они нашли следы опор, которые держали две хижины, построенные из веток гвоздичного дерева и покрытые длинной травой и козьими шкурами. Для подтверждения было достаточно самого расположения с его широким видом на якорную стоянку, но ученые откопали также и фрагменты навигационных приборов, бывших в списке вещей, которые Селькирк привез с собой на остров.

* * *

Всегда безоблачное небо, изобилие пищи, которая буквально сама шла в руки, хижина, овеваемая прохладным океанским бризом, – и тоска, непреодолимое желание вновь увидеть человеческое лицо. Александра охватило такое отчаяние, что он едва удерживался, чтобы не наложить на себя руки.

«Когда я раскрыл Библию наудачу, мне бросились в глаза следующие слова: “Призови меня в день печали, и я освобожу тебя, и ты прославишь имя мое” <...> Прежде чем лечь, я сделал то, чего не делал никогда в жизни: опустился на колени и стал молиться Богу, чтобы он исполнил обещание – освободил меня, если я призову его в день печали»¹. Порох кончился быстро. Он отловил пару козочек и удивлялся, глядя, как они толкаются в маленьком загончике, что можно мечтать о кусочке сыра. За козами он теперь охотился голыми руками.

¹ Дефо Даниэль. Робинзон Крузо / Пер. с англ. М. Шишмарева. – М.: Ридерз Дайджест, 2009.

Шустрые животные, сперва доверчивые, быстро раскусили, чем грозит им новый островитянин, и ловко уворачивались, гоняя его вверх и вниз по каменистым склонам. Однажды коза, перескакивая с одного камня на другой, заманила его на самую вершину холма. Александр рванулся за ней, ветка, за которую он ухватился, выскользнула из рук, и он полетел со скалы в пропасть. Он пролежал на дне ущелья три дня. Сознание покидало его и снова возвращалось. Ночами, когда смолкала птичья трескотня, тишину нарушали лишь жуткие завывания морских чудовищ, которые поднимались из глубин океана и, казалось, подбирались все ближе и ближе к нему. Высоко в небе, словно далекий парус, стоял над ним месяц и с каждым днем прибывал, будто звездный ветер надувал его тугую парусину. Ныл ушибленный бок, – еще хорошо, что он упал на эту проклятую козу, а то бы убили насмерть, – саднили, не заживали царапины на руках и сверлила, как болячка на сердце, горькая мысль: что же он сотворил со своей жизнью?

Родная деревня, Нижнее Ларго, была такая маленькая, что даже Верхнее Ларго, где церковь украшал высокий готический шпиль, казалась ему чуть ли не городом. У пристани толкались лодки, на которых местные рыбаки выходили в море за сельдью. Главная улица (она так и называлась – Главная) вилась вдоль залива; домики, зорко глядя из-под черепицы, всеми окнами следили за парусами, которые белым пятном возникали на горизонте и спешили дальше – в Эдинбург, Портсмут, в далекие южные моря. Мать потакала ему. Босой голенастый парнишка, который вечно торчал на заливе, среди рыбаков, был седьмым ребенком в семье Селькирков, что по шотландским поверьям было гарантией исключительной судьбы.

Но откуда она могла взяться – исключительная судьба – в этой унылой дыре?

– Всю жизнь, – злился Александр, поддавая ногой гальку на каменистом берегу залива, – всю-то жизнь придется корпеть, согнувшись, в башмачной мастерской, которая перейдет по наследству от отца, Джона Селькирка, и как он, до старости, (а Джон, конечно, представлялся парнишке глубоким старцем! – *Прим. автора*), сидеть с шилом в руках и ничего не видеть, кроме поношенных подошв.

А рядом, буквально через улицу от их дома, в таверне «Красный лев» собирались моряки. Молодой Селькирк часами нависал над потертым столом с мокрыми круглыми следами перелитой через край пены, цепко ухватив кружку, словно весло или мушкет. Корабельный фонарь тускло светил сквозь клубы табачного дыма, ямайский ром оставлял во рту сладость, а в голове – легкое кружение и манящую мешанину про страны, где золото валяется под ногами, про жаркий ветер сирокко, про рабынь с ожерельем из ракушек на черных глянцевах шеях... Отец ворчал, а мать махнула рукой: «Не удержать»...

...Сознание возвращалось и обдавало холодом: слова, которые тогда значили для него ничуть не больше, чем очередная отцовская выволочка, теперь звучали так, будто именно они пригвоздили его к этому острову: «Нет тебе моего благословения!» Камешки катились из-под быстрых козых ног, падали вниз, в ущелье, и ему казалось, что они растут в полете, долетая до него, делаются все больше и больше, и это не камни уже, а его грехи, которые сыплются на него и покрывают его всего с ног до головы.

...Первое упоминание об Александре Селькирке нашлось в церковных анналах Нижнего Ларго шотландского графства Файв. Молодой человек вызывается на церковное собрание, чтобы получить внушение за недостойное поведение, а чтобы быть точнее, за драку, учиненную прямо в недрах семьи, и неповиновение отцу. Юноша, который станет образцом упорства и самодисциплины – для всего читающего человечества! – не может быть обычным буяном и скандалистом, похоже, что в нем клокочут и рвут из домашнего мира те самые силы, которые и должны привести его к исключительной судьбе. Он убежал из дома и нанялся на корабль. Прямо там, на пристани, среди дымящихся смоляных бочек, где он ударил по рукам

с боцманом, и началась цепь несчастий, которая привела его сюда, в эту яму. Корабль захватили пираты и продали его вместе со всей командой в рабство. Ему удалось бежать, снова устроиться на корабль и небезуспешно: он вернулся домой герой-героем, с тугим кошельком и золотой серьгой в ухе. Теперь, после того как он распробовал вкус приключений, разве мог кто заставить его снова взять в руки черные кожи для башмаков?

Как-то, выпивая с приятелями в «Красном льве», где он теперь стал завсегдатаем, Александр заметил «Лондон газет», оставленную здесь, видимо, проезжим путешественником. Желтый лист бумаги извещал, что знаменитый мореплаватель, капер и исследователь капитан Дампьер на двух судах собирается предпринять плавание в Вест-Индию.

В списке тех, кто записался в члены экипажа флотилии Дампьера, имя Селькирка стоит одним из первых.

Плавание протекало спокойно, но неожиданно умер капитан быстроходной галеры «Кинк Порте», где Селькирк служил вторым помощником. На освободившееся место Дампьер назначил капитана Томаса Стредлинга, упрямого и неопытного гордеца.

«Гордеца!» Селькирк замотал головой при этой мысли и застонал. Ему ли, жалкому грешнику, осуждать строптивый характер Стредлинга? «Но теперь, когда я захворал, моя совесть, так долго спавшая, начала пробуждаться, и мне стало стыдно за свою прошлую жизнь. И я взмолился: “Господи, будь мне помощником, ибо я нахожусь в большой беде!”»

Само место, где он метался в лихорадке, казалось ему теперь вполне соответствующим его душевному состоянию: он в пропасти. Александр горячо молился, и с каждым днем новая жизнь заполняла его. Боль стихла. Окрепнув, он вскарабкался наверх по стене ущелья и пополз домой, в свою хижину. Десять дней он пролежал без движения и мог бы умереть от голода, но подростки сами доверчиво подходили к своему хозяину, и он пил молоко прямо из вымени.

Теперь он положил за правило каждый день проводить определенное время в чтении Священного писания. Молитвы Александр произносил вслух, чтобы поддерживать дар речи. Три месяца спустя он записал остатками чернил: «Я чувствовал благость ко мне провидения и от всего сердца благодарил Бога за свое настоящее положение со всеми его лишениями и невзгодами»².

Он не просто примирился со своей участью, – он научился находить радость в своих повседневных занятиях, вырезая узор на крышке сундучка или даже просто вычищая внутренность кокосового ореха, чтобы сделать из него чашку. Уже потом, стоя на палубе шхуны «Герцог», Селькирк признается капитану Вудзу Роджерсу, что «был лучшим христианином во время одиночества, чем когда-либо он был до этого, и сомневается, будет ли еще»³.

* * *

Они заметили остров в 7 утра 31 января 1709 года: горные пики были ясно видны над горизонтом.

Капитан Роджерс послал на берег команду приглядеть место, где корабль мог бы бросить якорь. Стемнело, и моряки на борту шхуны вдруг увидели, что на берегу загорелся огонь, слишком яркий, чтобы быть огнями лодки. Они испугались, что это могут оказаться французы. Всю ночь капитан Роджерс и его офицеры держали корабль готовым к боевым действиям. Лодка вернулась – они тоже видели огонь и не решились причалить. Утром на

² Дефо Даниэль. Робинзон Крузо / Пер. с англ. М. Шишмарева. – М.: Ридерз Дайджест, 2009.

³ The Story Of Alexander Selkirk From «The Englishman» by Richard Steele.

берег отправился ялик с капитаном Робертом Фраем и шестерыми матросами, вооруженными до зубов. Ветер стих, и оба корабля, «Герцог» и «Герцогиня», бросили якорь в заливе. Потом его назовут «Ветреный».

Вудз Роджерс остался на борту и с тревогой смотрел на ялик, по-прежнему опасаясь, нет ли на острове иностранного гарнизона. Наконец лодка вернулась, нагруженная гигантскими лангустами. Среди своих моряков капитан с изумлением увидел человека, одетого в козьи шкуры: «Его вид был более диким, чем у настоящих обладателей этих кож», – напишет Роджерс в судовом журнале⁴.

Александр Селькирк заметил корабли накануне и разжег на берегу костер. Наутро, увидев ялик, он нацепил на палку остаток белого полотна и закричал, чтобы привлечь внимание моряков. Услышав английскую речь, офицеры попросили незнакомца показать место для стоянки, и тот со всех ног кинулся им навстречу. Матросы разбили палатки на берегу. Больных – худосочных, с кровоточащими деснами и синими язвами на ногах, вынесли на носилках и разместили отдельно: моряки боялись приближаться к цинготным, считая их заразными, вроде чумных. Цинга, бич дальних переходов, часто подкашивала целые экипажи. По полгода моряки были вынуждены питаться пресными галетами, прогнившим мясом, да еще и запивать все это тухлой водой. Опытные капитаны грузили лимоны бочками или варили еловое пиво с сахаром. У Селькирка был свой метод. Бульон, сваренный из козьего мяса, он заправил репой, капустой и зеленью, которая все эти годы предохраняла его самого от болезни. Сменив свой островной наряд на матросскую робу, он разносил миски с супом по палаткам, придерживая за голову совсем ослабевших, подносил ложку прямо к беззубым ртам и хриплым, отвыкшим от разговоров голосом читал молитву.

«Эти листья, – писал Роджерс в своем дневнике, – мощно защитили мою команду от цинги. Из двадцати одного заболевшего мы похоронили только двоих»⁵.

Обогнув скалу, которая острым углом выдавалась в море, Александр вывел команду охотников к тюленьему лежбищу. Бурые гляцевые тела, похожие на гигантских пиявок, облепив каждый утес, каждую каменную плиту, били лапами по воде и ревели, раздирая свои страшные усаые морды. Фрай даже присел, держась рукой за скалу:

– Да он своими челюстями схватит и перекусит меня пополам!

– Я сам их поначалу сильно боялся, – признался Селькирк, – а потом изучил их повадки. Времени-то хватало, – усмехнулся он и показал рукой на льва, который лежал поближе к ним, грея в солнечных лучах пятнистый бок. – Приглядишься, зверь поворачивает свое тело с необычайной медлительностью. Надо подобраться к нему как можно ближе, стать ровно против середины туловища – он и не заметит, как ты перерубишь его топором!

Наконец Роджерс отметил в судовом журнале, что корабль нагружен водой, восемь бочек с тюленьим маслом стоят в трюме, а паруса заштопаны. Ялик готов отчалить. Не видно только «губернатора острова», как прозвал Роджерс отшельника. Когда матросы уже взялись за весла, капитан заметил, что из-за кустов появился сначала высокий козий малахай, а потом и сам Селькирк.

– Поторопись, – сердито крикнул капитан, – через пару часов «Герцог» снимается с якоря.

Селькирк стянул с заросшей головы шапку, оглянулся на лес, словно искал одобрения, вздохнул и, наконец, произнес:

⁴ *Woodes Rogers. A Cruising Voyage Round The World: First To The Southseas, Thence To The Eastindies, And Homewards By The Cape Of Good Hope. Begun in 1708, and Finish'd in 1711. A Journal Of All The Remarkable Transactions* Nabu Press, 2011.

⁵ *Woodes Rogers*. Цит. произведение.

– Не считите меня неблагодарным, капитан, но не могу пойти с вами. Я остаюсь на острове, как бы мне не хотелось вернуться к родному берегу и прижать к груди своего престарелого родителя.

Роджерс сначала решил, что он недослышал. Александр и впрямь говорил нечетко, проглатывая окончания слов.

– Ты совсем стал дикарем, Селькирк! Желаете кончить жизнь среди коз? Капитан Дампьер уверил меня, что ты опытный навигатор, и я хотел взять тебя на свой корабль штурманом.

– В нем и дело, сэр, если позволите, – сказал Селькирк, решительно насунув шапку на привычное место, – в Дампierre! Я дал обет Спасителю нашему, – тут он перекрестился, – что никогда моя нога не ступит на палубу судна, где поднят Веселый Роджер.

Рука капитана упала на позолоченный эфес шпаги. Вудз Роджерс распрямил спину и рявкнул так, что чайки, которые мирно шныряли по берегу, разом поднялись и отлетели в сторону:

– Командую флотилией я, капитан Королевского флота, а не штурман Дампьер!

* * *

От капитана Роджерса Александр узнал о судьбе шхуны «Кинк Портс». Вместо срочного ремонта пробоины в борту, на чем настаивал Селькирк, упрямый капитан Стредлинг взял курс в сторону Колумбии. Недалеко от берега парусник попал в шторм. Корабль разнесло в щепки, и из всей команды уцелели только сам капитан и полдюжины матросов.

Но и их участь была незавидна: испанцы выловили их из воды и отправили в Лиму, в тюрьму.

О ирония судьбы, капитан Стредлинг просидел в камере четыре года и четыре месяца.

* * *

Оба корабля, «Герцог» и «Герцогиня», вплывут в историю, географию и литературу. Жюль Верн отведет Вудзу Роджерсу место среди знаменитых мореплавателей восемнадцатого века в своей «Истории великих путешествий», а Уильяма Дампьера Джонатан Свифт в образе капитана Покока отправит в плавание вместе с Гулливером. Дневники обоих мореплавателей опубликованы при их жизни. Портрет Дампьера в золоченой раме висит в Национальной галерее Великобритании, а в Нассау, столице Багамских островов, стоит памятник капитану Роджерсу.

Миля за милей плыли корабли вдоль отдаленных берегов, покрытых девственными лесами. Чем ближе к экватору, тем нестерпимее становилась жара. Бочки с пресной водой показывали дно. Роджерс, собрав в кают-компании офицеров, объявил о решении атаковать испанский город Гуаякиль.

Капитан Роджерс навел подзорную трубу на тонкую зеленую линию на горизонте. Пара пистолетов с серебряными рукоятками, висящих на концах широкой шелковой перевязи, раскалилась на солнце. Широко расставив ноги в дорогих чулках и ботфортах из лучшей испанской кожи, которую только можно купить на Тортуге, стоял с ним рядом на капитанской рубке Уильям Дампьер. Темные ладони, до узких, цепких пальцев укрытые манжетами из брабантских кружев, сложены за спиной. Он немолод, и его длинные волосы, разделенные на прямой пробор, серебрятся, как судейский парик. «Старый пиратский пес» – так называли его за глаза матросы. Под широким воротником прятался шнурок с бамбуко-

вым цилиндром, где Дампьер хранил свой дневник. В этих записях – карты тропических островов, австралийские аборигены с полосками белой краски на лбу, москиты размером с птицу и птицы, которые переливаются радужными цветами. Не щурясь на яркий свет, он глядел на залитое солнцем море и пенящуюся кильватерную струю.

– Если ветер не переменится, – сказал Роджерс, складывая трубу, – к утру будем в Гуаякиле. Один дьявол знает, что из этого выйдет!

* * *

Испанское озеро, как тогда называли Тихий океан, бороздили три типа кораблей. В первую очередь, торговые суда. Испанские галеоны, которые перевозили товары от берегов Мексики до Филиппин, были так крепко вооружены, что ходили без конвоя. Затем каперы – частные суда, которые получали предписания от британского Адмиралтейства на военные действия. Капитаны этих кораблей были людьми с военным опытом и привычкой к дальним путешествиям. Их «прикрывали» и английская, и французская короны, – чтобы немного прижать соперников. И наконец, собственно пираты. Люди вне закона.

Красивый испанский городок в устье реки на берегу океана представлялся совершенно законной добычей и капитану Королевского флота Роджерсу, и пирату Дампьеру, и Селькирку, вольнонаемному моряку.

* * *

– Флибустьеры никогда не нападают на город, если не вышло застать всех врасплох! – назидательно заметил Дампьер. – И к чему нам спешить в такую жару?

Отвертев крышку от фляги, он сделал глоток и протянул ром Селькирку. Тот слабо махнул рукой:

– Нет, сэр, спасибо, я от своих привычек не отстаю. Пью только воду.

Губернатор Гуаякиля, молодой черноглазый офицер по имени Иеронимо Босса и Солиз, недавно прибыл из Тенерифе. Сидя на залитой солнцем веранде, как на капитанском мостике, он оглядывал свои новые владения: рейд, где покачивались на волнах торговые корабли, верфи, откуда доносился убедительный строительный шум, площадь, обрамленную рядами двухэтажных домов, церковь, где у входа обменивалась новостями компания зажиточных горожан. Чернокожий слуга в безукоризненной ливрее поставил на столик рядом с креслом губернатора бокал с оранджем. Не оборачиваясь, Иеронимо потянулся за прохладным напитком, и рука его замерла в воздухе: по склону холма, прямо на него неслась орда вооруженных каперов.

«Мы перезаряжали мушкеты и стреляли очень быстро, а враг сделал только один выпад и спрятался за свои орудия», – отчитается капитан Роджерс об атаке в своем рапорте Адмиралтейству⁶. Испанцы отстреливаются беспорядочно и наугад из четырех пушек, которые установлены в конце широкой улицы перед церковью. В клубах едкого дыма каперы наступают вперед, тесня защитников города. Первыми пугаются лошади: срываясь с места, они несутся прочь, а за ними, бросив на произвол врага орудия, удирают канониры.

Когда проблески рассвета рассеяли предутренний туман, жители города, осторожно выглянув в щели между ставнями, обнаружили, что на церковном шпиле поднят английский флаг. Пара домов на площади назидательно преданы огню. Моряки прочесывают склады,

⁶ *Woodes Rogers*. Цит. произведение.

подвалы, церкви. На корабли отправляются лодки, груженные мешками с мукой, горохом, рисом и золотой посудой – не меньше чем на тысячу фунтов. За 22000 золотых Роджерс обещает губернатору воздержаться от поджога города. Капитан зол и разочарован: он подозревает, что испанцы успели вывезти в лес и закопать там золота на десять выкупов. Жара и влажность высасывают силы. Команде не терпится скорее погрузить захваченные ценности в трюм и поднять якорь.

Сумрак тропической ночи накрыл разоренный городок. Отряд, который вел Селькирк, двигался по пустынным улочкам, пропахшим гарью. На окраине, у самой реки, они наткнулись на дом, укрытый за цветущими апельсиновыми деревьями. В окнах было темно, но внутри явно слышалось какое-то шевеление. Дверь распахнулась с первого удара. Селькирк ворвался в комнату и застыл в изумлении: в слабом мерцании свечи он увидел дюжину бледных, перепуганных женщин. Молодых, красивых, одетых в изящные платья. Последний раз Александр видел женщин почти пять лет назад, в бристольтском порту. Он криво улыбнулся. Около резного буфета, на столике блестело серебряное блюдо; на нем стояла коробка с перуанскими сладостями и початая бутылка вина. Селькирк схватил бутылку за горлышко и медленно, не переводя дыхание, выпил.

– Ты что застыл, черт тебя разбери! – сердито крикнул матрос и толкнул его в спину мушкетом. Селькирк поставил пустую посудину на столик и ловко швырнул в мешок серебряный поднос.

– Дамочки, – он снял широкополую шляпу и учтиво поклонился, – мы не причиним вам вреда!

Английские моряки так галантны, так обходительны: сережки из смуглых ушек вынимают как настоящие джентльмены! Селькирк деликатно, чтобы не смутить стыдливость благородных дам, похлопывает ладонью по ногам и бедрам, нащупывая цепочки и украшения, припрятанные под юбками из тонкого шелка.

* * *

Флотилия состояла теперь из четырех кораблей: «Герцог», «Герцогиня», призовое судно «Маркиз» и фрегат «Бетчелор» – так в честь главного спонсора экспедиции назвали захваченный испанский галеон, который вез из Манилы в Акапулько драгоценный груз: «шелка, тафта, мускус, гвоздика, корица, сталь и китайский фарфор»⁷. Они петляют между островами, откачивают помпой воду, которая льется через пробоину в корме «Герцога», переживают штормы, мятеж, продают в голландской Ботсване «Маркиз», дно которого изъедено червями, выдерживают голод, когда за две недели путешествия от одной гавани к другой морякам удалось поймать всего лишь двух дельфинов, – и огибают земной шар.

* * *

11 сентября 1711 года капитан Роджерс делает лаконичную запись в своем судовом журнале:

«Сегодня в 11 утра мы, наш второй корабль и приз вошли в английский порт Эриф, где мы встали на якорь, что завершило наш длинный и утомительный вояж»⁸.

⁷ David Cordingly Spanish Gold: Captain Woodes Rogers and the True Story of the Pirates of the Caribbean.

⁸ Woodes Rogers. Цит. произведение.

В Лондоне капитана Дампьера, «старого пиратского пса», зовут совсем по-другому – морской король. Пират и ученый, он совершил три кругосветных путешествия, водил форсированные марши сквозь джунгли Панама и составил карту ветров Южных морей. Вернувшись в Лондон, он поселился на тихой улице между Гилдхоллом и Бедламом, больной и одинокий. Через три года после возвращения Уильям Дампьер встал, как говорили моряки, на вечную стоянку на церковном кладбище. Денег, вырученных за продажу с аукциона земельного участка, едва хватило, чтобы покрыть долги.

Незадолго до отъезда капитан Роджерс женился на дочери адмирала. Молодая семья поселилась в Бристолье на Королевской площади в доме из красного кирпича и с белыми колоннами на входе. Вернувшись, Роджерс обнаружил, что Сара наделала уйму долгов, и все деньги, которые остались после уплаты торговой пошлины, ушли на то, чтобы выкупить заложенный дом. Потомственный авантюрист, Роджерс не растерялся. Он обработал свои дневники и договорился об их публикации в преуспевающем издательстве, где печатал свои памфлеты модный лондонский журналист Даниэль Дефо. Гонорар, заработанный на издании книги, спас мореплавателя от долговой тюрьмы.

Его карьера в самом расцвете. Король назначит капитана Роджерса губернатором Багамских островов, полностью находящихся под контролем пиратов. Вудз Роджерс будет вести переговоры с береговым братством, кого-то «перекупать», предлагая королевские патенты и законную мирную жизнь, а тех, кто не согласится – «сушить» на солнце, для чего вдоль бухты Провиденс будет построено порядка 40 виселиц...

Тем временем книга «Кругосветное путешествие», которую написал знаменитый капитан, не залеживалась на развалах у книжных торговцев. Вся Англия увлечена географическими открытиями и морскими приключениями. Особенно захватывает воображение публики судьба отшельника с острова Хуан Фернандес.

* * *

Живое свидетельство об Александре Селькирке осталось в газете «Англичанин». С нескрываемой горечью он признался журналисту Ричарду Стилу: «Сейчас я стою восемь сотен фунтов, но я никогда не буду так счастлив, как я был, когда не владел ни фартингом»⁹.

Интервью сделало моряка знаменитостью. Журналист представил читателям человека, который «надолго был отлучен от людского общества: во взоре его изображалась важность и веселая бодрость, и какое-то пренебрежение к окружающим его обыденным предметам, как если бы он был погружен в задумчивость»¹⁰.

Александра приглашают в богатые дома, он заводит знакомства с аристократами, ездит в дорогих экипажах. Однако он недолго нежится в лучах славы: интерес к нему довольно быстро падает, он угрюм, раздражителен и плохой рассказчик.

* * *

...Пристроив шляпу рядом с собой, незнакомец присел на заднюю скамейку, положил стиснутые ладони на спинку сидения перед ним и набожно потупил глаза. Рослый джентльмен в черном камзоле, богато расшитом золотом, и в Лондоне не остался бы без внимания, в скромной же церквушке Нижнего Ларго, где незнакомцы редки, а дальним плаванием счи-

⁹ The Story Of Alexander Selkirk From «The Englishman» by Richard Steele.

¹⁰ Там же.

тается выход в залив за селедкой, он сразу стал объектом всеобщего перешептывания. Наискосок от прохода, почти напротив пришельца, расположилось почтенное семейство Селькирков: старый Джон со своей хозяйкой, тоже немолодой, слегка расплывшейся тетушкой в белом чепце с оборками, здоровяки-сыновья и невестки в праздничных пледах, заколотых серебряными брошами, чьи головки, как стрелки компаса, немедленно повернулись туда, где сидел элегантный моряк, – тем более что он и сам, казалось, поглядывает в их сторону.

Конечно, первой его узнала мать. Привстав, она настороженно посмотрела на незнакомца, словно не доверяя своему чувству, и вдруг кинулась по проходу, роняя шаль, перчатки, молитвенник:

– Александр!

Все вышло так, как он представлял, когда, сидя под палящим солнцем с раскрытой Библией на коленях, рисовал в воображении в мельчайших чертах свое возвращение. Прощение, которое тут же, плача и хлопая сына по крепкой спине, дал ему старый родитель, тучный телец, которого мать поворачивала на вертеле, поливая мясным соусом, старший брат, солидный, хозяйственный, который, легко подхватив, унес и поставил рундук в свободной комнате своего дома, друзья и соседи, которые собрались на пир и осторожно, словно стеклянную, передавали из рук в руки чашку, выточенную из кокосового ореха....

Вот только что делать дальше, он не знал. Люди, общество стесняли его, жали, как сапоги. Проще всего он чувствовал себя с хозяйскими кошками, которые теперь переселились наверх, в его комнату, и стали его ближайшими компаньонами. Он научил зверюшек кружиться, а они так привязались к нему, что часами сидели у окна, ожидая, когда он вернется. А ждать приходилось долго, потому что Александр, покидав в котомку хлеб и сыр, уходил спозаранку в долину и бродил там в одиночестве до самого вечера. В деньгах он стеснен не был, однако потратился только на покупку лодки. Когда позволяла погода, он болтался среди утесов, занимаясь делом, которое напоминало ему об утерянном рае, – ловлей лангустов.

К дому его отца примыкал небольшой сад. На бугорке, покрытом мягкой травой, Александр выстроил хижину. Днями напролет он слушал, как стучат по крыше, крытой ветками, капли дождя, и смотрел на залив, на темный горизонт, словно снова и снова искал там спасительный ответ.

Деревенский доктор, которой дожил до почтеннейших лет, часто показывал молодому учителю, Джону Селькирку, то место в саду, где стояла хижина его дяди, и пересказывал сотый раз историю о том, как он, еще совсем мальчишка, пробегал мимо этого странного строения и слышал, как моряк, сидя в нем, плачет и причитает: «О, мой милый остров, зачем я покинул тебя!»

* * *

Туман стелился по долине Кейл, по-утреннему тонкий, и, клубясь, закрывал вершину каменной башни, которая стояла на пригорке, среди не видных за белым молоком деревьев. Здесь, в развалинах замка Питкрузи, Александр любил устраивать привал, прячась от влажного воздуха под старыми арками. Но сегодня его место оказалось занятым. На камне, около полуразрушенной винтовой лестницы, сидела юная девушка. Клетчатая шаль с бахромой по краю покрывала ее гладкую головку с двумя косичками и белую блузку, выпущенную поверх юбки в сборку, оставляя открытыми только ладошки, в которых она держала лиловые веточки вереска. Тихонько напевая, девушка время от времени поглядывала на корову, которая паслась около пруда. Не решаясь нарушить пасторальную картинку, Александр спрятавшись за углом башни и оттуда несколько часов наблюдал за милой пастушкой.

С того дня он забросил лангустов и перестал просиживать днями в своей хижине. Одинокую пастушку звали София Брюс, и ему сразу понравилось, что она, так же, как и он, шум-

ным сближениям предпочитала уединение Киельской долины, а посиделкам с подружками – церковную службу.

Ранним утром, когда зыбкий туман, пришедший с залива, накрыл деревню так основательно, что было не видно ни коттеджей, шеренгой выстроившихся вдоль маленькой гавани, ни церкви, ни отцовского сада, парочка села в дилижанс и отправилась в Бристоль.

Александр так торопился начать, а точнее, вернуть безмятежную жизнь, что даже не взял с собой рундук, который так и остался стоять в его комнате под охраной котов. В доме его брата еще долго показывали гостям чашку из кокосового ореха, искусно украшенную серебряным орнаментом...

* * *

...Появление его в Бристолье сопровождается упоминанием – и не на страницах модных газет, а в заметках Королевского суда, где шершавым судейским языком говорится, что Александр Селькирк был задержан за драку с корабельным мастером Ричардом Нетлом в приходе святого Стефана.

А спустя еще полгода его фамилия появляется в списке членов экипажа небольшой шхуны «Интерпрайз». Несколько лет судно плавает вдоль Британских островов и, наконец, осенью 1720 года бросает якорь в порту Плимута.

Поговорка гласит, что у моряка есть по жене в каждом порту. Не обошел эту банальную тему, кстати, и капитан Роджерс: «Во время стоянки “Герцога” и “Герцогини” в Ирландии наша команда постоянно женилась, хотя они все знали, что должны были немедленно отплыть. Среди других католический священник сочетал браком датчанина и ирландку, которые не понимали ни слова на языке друг друга, так что во время бракосочетания им пришлось пользоваться услугами переводчика»¹¹.

Лес мачт мерно поднимался и приседал вместе с волной. Рослый офицер в черном камзоле с позументами выбрался из шлюпки на берег и двинулся сквозь портовую толчею, энергично действуя плечом и тростью с золотым набалдашником. Соленый влажный воздух пах какао, сухим табачным листом, патокой и грязью. Кричали торговцы, гремели фургоны, полуголые матросы разгружали корабли, крепили веревки, волокли, закинув на спины, мешки с сахаром, дельцы договаривались о сделке и, поплевав на ладонь, били по рукам.

– Селькирк! – окликнул его знакомый грубоватый голос, – давай сюда! – Высунувшись из открытого настежь окна «Короны и якоря», ему махал рукой моряк с короткой лоснящейся косичкой: – Будь я проклят, если в этом трактире не самый лучший ром во всем Плимуте!

Пригнувшись, Селькирк вошел в просторную комнату с деревянными балками на потолке и сел, навалившись локтями на стол.

– Эй, – крикнул он, – стакан рому и воду!

Хозяйка, верткая черноволосая красotka, шныряла между столиками, как чайка по пристани, и шутила с посетителями. Селькирк нетерпеливо стукнул кулаком по столу. Она подлетела мгновенно, одобрительно кивнула на золотой позумент камзола и наклонилась, мимолетно прильнув к его плечу рукавом пышной блузки, к самому уху:

– Не спеши, морячок! Сейчас все будет!

В книгах приходской церкви святого Эндрю есть запись о выдаче лицензии на брак Александра Селькирка и Френсис Кендиш, вдовы хозяина гостиницы. Тем же днем помечено

¹¹ *Woodes Rogers*. Цит. произведение.

и завещание, в котором все свои деньги, дом и землю Александр отписал «горячо любимой жене Френсис Селькирк»¹².

* * *

Зал суда огромный, как кафедральный собор. Если долго смотреть вверх, на высокий потолок, то может закружиться голова. На круговой галерее толпятся зрители. Дамы обмахиваются веерами, журналисты взволнованно перешептываются: это не просто пикантное дело о завещании, которое оспаривают две жены моряка. Это женщины Александра Селькирка, про которого написан популярный роман, его каждая приличная семья считала должным поставить у себя на книжной полке. В высоком кресле сидит судья, прямой, как спинка стула. Бедная София от страха не может разглядеть его лицо, она видит только длинное белое пятно под париком и витые букли, которые спускаются на черную мантию. Ее личико, беленькое, с бескровными губками, обхвачено полотняным платком, сложенным треугольником и туго завязанным под подбородком, – так в Нижнем Ларго спокон веков носили головной убор замужние женщины. Но чем, кроме белого платка и серебряной брошки, которой заколота клетчатая шаль, единственного подарка мужа, чем еще она может доказать, что Александр и вправду на ней женился? Склонив головку, она слышит голос судьи, который рокошет, как прибой в заливе, лопотание зрителей в галерее, кружащее над ее головой, как чайки перед бурей, и пронзительное, как у вороны, карканье черноволосой бабенки: «самозванка», «дурная репутация»... К напористой Френсис попали: деньги, дом, пара золотых канделябров, четыре кольца, меч с серебряным эфесом, серебряная табакерка, трость с золотым набалдашником, сундук с льняным бельем, морские книги, инструменты...

* * *

С новой женой Александр прожил всего лишь несколько недель. Оказавшись по делам в Лондоне, он случайно столкнулся на Флит-стрит с Ричардом Стилом, и тот не узнал моряка. «Несмотря на все удовольствия, – признался журналисту Селькирк, – общество не может вернуть мне покоя моего одиночества»¹³.

21 декабря 1720 года корабль Его Величества «Веймут» под командованием капитана Огла покинул Плимут и взял курс на Гвинею, как тогда называли Западную Африку. Первым помощником капитана шел Селькирк.

Перед самым отъездом Александр завернул в таверну «Ландодже троу», где капитаны в белых париках с косичками просиживали вечера за картами и ромом. Вудз Роджерс позвал бывшего спутника по путешествиям, чтобы познакомить со своим приятелем, журналистом Даниелем Дефо, который приехал в бристольский модный спа поправить здоровье, подорванное в тюрьме. Болтать Селькирк был не склонен, тем более он до сих пор стеснялся, что, будучи арестован за очередной дебош в дешевом портовом кабаке, дал полиции адрес Роджерса на Королевской площади. Он молча выпил предложенную пинту, так же молча положил перед Дефо свернутую трубочкой рукопись и ушел.

¹² Howell John. The Life and Adventures of Alexander Selkirk. Read Books Design, 2010.

¹³ The Story Of Alexander Selkirk From «The Englishman» by Richard Steele.

* * *

Об этом путешествии мы знаем подробно от судового хирурга «Ласточки» Джона Аткинса. Пятидесятипушечный фрегат присоединился к экспедиции капитана Огла, чтобы вместе патрулировать торговые пути. Вернувшись в Англию, Аткинс издаст две книги. В «Морском хирурге» он впервые опишет малярию, африканскую сонную болезнь и другие тропические напасти. А «Вояж в Гвинею» поразит воображение читателя: «Берега реки Сьерра-Леоне покрыты мангровыми деревьями, а воды изобильны крокодилами и акулами. Акулы могут есть все, включая брезент и одеяла, а если за борт опускается тело, то чудовища разрывают его и пожирают»¹⁴.

На Золотом берегу, в Эльмине – поселке, заселенном португальцами еще в пятнадцатом веке, располагалась штаб-квартира Королевской Африканской компании. Будем говорить откровенно, это был работоторговый порт. Корабли вошли в глубоководную гавань через узкий вход, защищенный небольшим фортом. Пятнышко цивилизации окружали густо покрытые лесом холмы, где эхом отражались крики попугаев и обезьян. Экзотические фрукты: ананасы, бананы для лучших домов Европы собирали черные африканцы, свезенные со всех концов Гвинеи. Капитан Огл приказал разбить на берегу палатки, где поселился экипаж обоих судов.

Вот тут и начались смерти. Судовой хирург Аткинс винил невероятную жару и беспробудное пьянство, которому моряки предавались из-за дешевого пальмового вина. «Они скоро впали в такие эксцессы, – писал Аткинс, – что это принесло эпидемическую злую лихорадку»¹⁵.

Эффект был просто катастрофический. Капитан Огл был вынужден купить несколько черных рабов, иначе корабли не смогли бы поднять якоря. Они добрались до португальского острова Сан-Томас, но смерть не оставляла их. Как писал хирург Аткинс в докладной записке в Адмиралтейство, «Веймут» вернулся в Англию, имея 280 мертвых в своих отчетах.

Имя Александра Селькирка было добавлено в печальный список, когда военные корабли стояли в Эльмине. Огл, капитан корабля «Веймут», 13 декабря 1721 года сделал запись: «Слабый ветер и хорошая погода. Мистер Селькирк умер»¹⁶.

Глава 2. Боец

Когда стареешь, жизнь начинает бежать быстрее. Словно убегает от тебя. Словно короче становятся не только годы, – дни, минуты, только успевай переворачивать песочные часы. И даже бессонная ночь не кажется мучительно длинной.

Больной откинул одеяло, сел и двумя руками протер лицо, растягивая кожу. За окном светлело, и заря поднималась над городом, высвечивая зигзаг островерхих крыш. Золотая полоса ширилась, солнечные блики бежали по реке и разгорались все ярче, ярче, словно заливая воду огнем.

Он зажмурил глаза – то ли чтобы снять напряжение, то ли чтобы отмахнуться от наваждения – ему показалось вдруг, что Темза горит. Что он снова тот перепуганный мальчишка, который стоит у окна, вцепившись в занавеску, и, как замороженный крольчонок, смотрит на стену огня – а она двигается к нему, выбрасывая вперед искры и языки пламени.

¹⁴ Atkins John. A Voyage to Guinea Brasil and the West Indies. Routledge, 2014.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

...Ветер гнал пожар по тесным улочкам, где домики так низко нависали над землею, что почти касались друг друга вторыми этажами, и огонь рвался вперед, перепрыгивая с одной соломенной крыши на другую, пожирая заборы, жилища, скарб. Треск заглушал крики и причитания, и мальчику казалось, что перед ним, как на огромной сцене театра «Глобус», артисты изображают бегство, беззвучно раскрывая рты. Купол собора Петра и Павла таял, как крем; расплавленный свинец стекал с него и лился рекой по улице. Люди вытаскивали пожитки из горящих домов, несли на постелях больных, катили тележки, набитые грудami барахла.

Около каменной церкви Святого Жилия за стеной метались те, кому нечего было спасать – бродяги и увечные. Приходской храм, как и вся коротенькая Фор-стрит, лепился снаружи к городской стене, которая окружала Лондон. Нищих побирušек, которые обычно толпились у ворот Криплгейт, выпрашивая монетки, теснили к стенам храма беженцы, валом валившие из города.

Отец и мать лихорадочно, хватая первое, что попадетсЯ под руку, грузили вещи в тачку, в которой маленький Даниэль по утрам развозил товар покупателям, и волокли в церковь, под каменные своды. Их деревянный домик, крытый соломой, как и все остальные постройки в приходе святого Жилия, где жила семья Джеймса Фо, мог вспыхнуть от одной искры, как большая сальная свеча, из тех, которыми торговал отец семейства. Весь город пылал, и мальчик на втором этаже уцелевшего дома, казалось, остался один, как на острове, в море огня.

Над балконом соседнего дома кружились голуби, арка огня закрывала от них небо, а снизу, из лопнувшего окна, рвались пламенные языки. Один, два, три – мальчик считал, как птицы с обожженными крыльями красными комками падали вниз.

Огонь остановился у городской стены...

Грузный старик стоял у окна, приложив руку к сердцу, которое стучало так торопливо, словно тоже куда-то спешило, и глядел, как солнце зажигает цветные стекла на серой башне церкви Святого Жилия. Великий пожар 1666 года смел старый тесный город.

– Очищающий огонь, очищающий – в прямом смысле этого слова, – поправил себя Дефо, – он выжег самое страшное бедствие, которое когда-либо нападало на род человеческий – Черную Смерть, чуму! Это был не иначе как перст Божий, не иначе как Его всемогущая длань. Ведь зараза не боялась никаких лекарств: смерть свирепствовала повсюду... Еще немного, и во всем городе не осталось бы ни души!

Чума завелась здесь, в бедном приходе Крипл-гейт, среди прогнивших домиков, влажных склизких камней старой римской стены и мутной жижи, заполняющей ров. Крысы роились под окнами, среди мусора, и казалось, что вся улица шевелится бурным ковром. А в домах, за дверьми с нарисованными красными крестами, было тихо, как на кладбище, да кладбищем и был весь приход, где почти каждое жилище стояло заброшенным, и только ночами раздавался скрип телеги, звон колокольчика и хриплый крик: «Выносите мертвецов!»

Господь, будь милостив к нам!

Старик нагнулся и задул уже не нужную свечу. Он сильно сдал за последний месяц – болезнь пожирала силы, как пожар. Смуглое лицо стало совсем желтым, как воск, а темные волосы, обычно скрытые под роскошным белым париком, висели теперь надо лбом жалкие, жидкие, мокрые от пота. Он часто и днем оставался в постели, не силясь даже спуститься по приставным ступенькам и ополоснуть лицо остывшей водой из тяжелого кувшина. Добросердечная миссис Бронкс, его домохозяйка, ставила на прикроватный столик потертый поднос с поджаренным хлебом и кружку эля, подтягивала сползшее одеяло и, приподняв больного за плечи, поправляла полотняные подушки. Иногда ему становилось легче, чаще это случалось ночью, и он, как старый цирковой медведь, которая привык выполнять один

и тот же фокус, подвигал ближе к столу дубовое кресло, раскладывал перед собой бумаги и разглаживал рукой загибающиеся листы, словно успокаивая, словно смиряя жар спешащих строчек. Но не писал.

Скандалы добились «Ревью» – газета, которая съела десять лет его жизни, была полностью разорена. Лорд Оксфорд, ее тайный владделец и покровитель, то попадал в тюрьму, то снова набирал силу, и сам Дефо едва избежал ареста, напечатав статью, где усомнился в честности судьи, который разбирал его дело.

* * *

«Тринадцать раз был богат и тринадцать раз впадал в нищету, – писал он сам, – причем не однажды испытал переход из королевского кабинета в Ньюгейтскую тюрьму»¹⁷.

Родители Даниеля надеялись, что он выберет карьеру проповедника, хотя вряд ли могли считать ее безоблачной и спокойной, когда сами были гонимыми диссидентами-протестантами в католической стране и поздними вечерами, взяв за руку маленького сынишку, пробирались на тайные встречи в молельню бесстрашного доктора Аннерсли. Положение священника-нонконформиста не обещало особых выгод, скорее надо было готовиться к бедности и унижениям. Вместе с королем Карлом Вторым в Англию вернулась не только монархия – торжествовал католицизм, и место протестантов, а особенно пуритан, сужалось с каждым новым законодательным актом. Однако семейство Фо, не считаясь со средствами, отдает единственного сына в академию преподобного Мортон. Чарльз Мортон учит своих студентов писать на живом, разговорном языке и вести острые политические дискуссии: о гражданских и личных свободах, О религиозной терпимости, об опыте, который приобрело английское общество за годы Гражданской войны и правления Кромвеля. К концу царствования Карла даже студенческие собрания становятся опасны, их приравнивают к «заговорам против прерогатив короны». Сам преподобный Мортон, как и многие пуритане, вынужден эмигрировать в Америку (там, в Новой Англии его назначат вице-президентом Гарвардского колледжа и священником в Чарльстонской церкви. Он будет проповедовать христианство аборигенам и, сам когда-то гонимый, станет одним из гонителей салемских ведьм). Еще неопознанные им самим силы бьются в молодом человеке, как огонь в печке. Даниель Фо (аристократическую частицу «де» он приплюсует позже) окунается в самое горячее политическое направление, (которое мы бы сейчас назвали либеральным); он уже пробует, еще неуверенно, перо, но больше всего ему хочется вырваться из нищеты прихода Криплгейт.

Самый верный путь к славе и богатству, пусть рискованный – Сити.

Сначала скромный галантерейщик, торговец чулками, он лихо пускает в оборот отцовское наследство, а потом и приданое жены, Мэри Тафли, дочери виноторговца. Дефо торгует табаком, разводит мускусных кошек (для нужд парфюмерии), спекулирует на бирже, наконец, снаряжает корабли в Португалию, Францию, Италию, нагрузив их контрабандным вином, сам плывет на одном из судов и чуть не попадает в плен к алжирским пиратам.

Вернувшись в Англию, он становится заметной фигурой. Камзол с блестящими золотыми пуговицами, вороной жеребец и первая книга «О проектах», где фонтаном льются фантастические идеи, которые потом станут обыденностью для всего человечества: о социальном страховании, женском образовании и подоходном налоге. Смерть Карла Второго, веселого короля, чье осторожное легкомыслие, воспитанное долголетней ссылкой, все-таки оставляло жизненное пространство для инакомыслящих, освободила престол для его брата

¹⁷ Каменский А.В. Даниэль Дефо. Его жизнь и литературная деятельность: биографический очерк. – Челябинск: Урал, 1995.

Якова Второго, убежденного и упертого католика. Все ждут взрыва, и он, конечно, происходит.

Джеймс Скотт, герцог Монмаут, незаконный сын Карла Второго высаживается в порту Лайм графства Дорсет и предъявляет права на корону. К герцогу стекаются радикально настроенные протестанты, фермеры, горожане, ветераны армии Кромвеля. В Сити волнение. Трое друзей Даниэля, выпускники академии Мортон, собираются в доме самого отчаянного из них и с собрания прямиком скачут под знамена инсургентов. Дефо в прямом смысле слова запирает свою лавочку и берет в руки оружие. Повстанцы терпят оглушительное поражение в битве при Седжмуре. Солдаты короля рыщут по округе, добывая мятежников и даже тех, кто оказывал восставшим какую-либо помощь. Монмаут найден переодетым в рваные крестьянские тряпки в придорожной канаве и обезглавлен в Тауэре. (Поклонники «Одиссеи капитана Блада» уже догадались, что писатель Рафаэль Сабатини положил в основу своего романа эпизод из жизни молодого Дефо?) Друзья схвачены, а Дефо чудом остается невредимым, потому что в этих краях его, лондонца, никто не знает в лицо. Он прячется на деревенском кладбище и до темноты сидит, скрючившись, за высоким надгробьем, не смея лишний раз пошевелиться и в сотый раз перечитывая имя, квадратными буквами высеченное на защитившей его плите: «Робинзон Крузо».

В истории всех стран много трагедий, но не каждая так сильно задевает народные чувства, чтобы зацепиться в памяти и стать легендой. До сих пор в Лондоне каждый лодочник, который ведет свой клипер по Темзе, показывает туристам маленькую, как грибок, таверну, втиснутую между громадами верфей. Деревянные подпоры, сделанные из старых мачт, держат комнату с низким потолком и окнами, выпуклыми, словно паруса, надутые ветром. Темза плещется прямо под балконом, то оголяя, то до половины погружая в волны столб с перекладиной и веревочной петлей. Сюда, на этот балкон подавали обед «кровавому» Джеффри Джарвису, судье и прокурору, чтобы он лично мог следить, не прерываясь на трапезу, за завершающей стадией судебного процесса. Запивая элем баранью ногу, Джарвис наблюдал, как в гавани Исполнения Приговора «плясали» повешенные на короткой веревке мятежники и как равнодушная волна прибоя трижды накрывала их с головой. Две тысячи мятежников: «Повесить!», «Колесовать!», «Четвертовать!», – лондонский палач перегружен, и на помощь ему привлекают мясников со Смитфильда. Но даже могучей гильдии скотного рынка не справиться с таким потоком: оставшуюся тысячу арестованных король распоряжается продать в рабство на сахарные плантации Барбадоса.

Те, кто читал «Одиссею капитана Блада», помнят, как отважный доктор, смеясь прямо в лицо жестокому судье, предрекает ему скорую смерть от болезни. Но о таком исходе Джарвису останется только мечтать.

Качели раскачиваются по всей Европе: католик – гугенот, гугенот – католик. Французы отменяют Нантский эдикт, гарантирующий свободу вероисповедания протестантам, и тысячи беженцев наполняют английские приморские города. А в протестантской Англии король Яков Второй, который обещал сохранять господствующую англиканскую церковь, распускает Парламент и публикует декларацию, снимающую все ограничения католиков. Даже прежде равнодушные к политике горожане недовольны. Религиозный фанатизм и не – подконтрольность короля Парламенту однажды уже привели страну к Гражданской войне. Все хорошо помнят Кромвеля и больше не желают у власти тирана, который первым делом прикрыл театры и пабы.

Дефо наконец находит себе оружие по руке. Его памфлеты, остроумные и злые, разлетаются среди читателей в клубах, кофейнях, на улицах Лондона, по всей стране. «Если так скоро забывается коронационная клятва, то какое же значение можно придавать другим его

обещаниям? Одним из прямых последствий этой декларации будет новый наплыв благодарственных адресов со всех концов страны; потому что нет пределов той низости и нахальному низкопоклонству, до которых может дойти лесть поработанного ума».

От последнего Стюарта отшатываются даже его сторонники, он не сопротивляется и бежит из страны. На ступеньках гавани Исполнения Приговора полицейские ловят судью Джарвиса, переодетого в матросскую робу: он пытается скрыться, договорившись с лодочником, но тот узнает «кровавого» завсегдатая таверны и поднимает шум. Джеффри Джарвис умирает в Тауэре от беспробудного пьянства. Можно ли это считать болезнью?

Вильгельм Оранский, штатгальтер Нидерландов, протестант, высаживается в Торби, чтобы занять престол вместо Якова Стюарта. «Славная революция» 1688 года меняет судьбу Англии и Дефо.

* * *

Купец он плохой. Кирпичный завод работает, сто человек рабочих (по три шиллинга на руки в день), корабли, груженные товаром, плывут во Францию, доходный дом в Вестминстере исправно приносит денежки – и все без его участия. Семья, про которую он вспоминает только в официальных письмах («мое многочисленное семейство») – заброшена. Он проводит время на скачках в Нью Маркете, где собирается вся столичная знать, и пьет в лучших увеселительных заведениях вино по 5 шиллингов за бутылку. В клубах его встречают аплодисментами – прославленный публицист и поэт! Его памфлет «Чистокровный англичанин», где он со всей страстью поддерживает короля-иностранца, разошелся по стране с невиданным количеством – 80 тысяч – экземпляров, и это когда успехом считался тираж в 2–3 тысячи.

И вовсе не крушение кораблей в Бискайском заливе, а безудержная готовность все бросить и схватиться за перо – вот что неизбежно приводит его на порог долговой тюрьмы. Однако он выкручивается, снова пишет проекты, стихи, становится доверенным лицом самого короля Вильгельма и советником королевы. Обрастает обожателями и ненавистниками.

Качели качнулись снова. Вильгельм Оранский падает с лошади, и английский престол наследует Анна, дочь короля Якова. Дефо, еще вчера блестящий придворный и общественный деятель, отринут новым двором и правительством, которые заполнили религиозные фанатики, готовые немедленно свести на нет дорогие ему принципы Славной революции: религиозную терпимость и гражданские свободы. «Мне удивительно, что все против меня, – пишет он в очередном памфлете, – между тем как я положительно уверен, что правда – на моей стороне».

Натурально, десяти лет свободомыслия достаточно, чтобы избаловать писателя! Как он потерял представление о готовности многих сограждан снова нырнуть за шоры страха и невежества? Он пишет памфлет-пародию, будучи уверен, что все поймут: он смеется. Едкая сатира – как бы от собственного лица он предлагает кратчайший способ разделаться с диссидентами. «А легко, – пишет он, – перевешать всех, и нет делов!»

Он не отдает себе отчет о состоянии умов в обществе: его сатиру принимают всерьез. Сторонники жестких расправ с инакомыслящими потирают руки и объявляют его брошюрку руководством к действию, а единомышленники в ужасе отшатываются от него!

Требуется месяц раздумий и смятенных объяснений писателя, чтобы до всех дошло, что он на самом деле имел в виду. Доходит, наконец.

«Он высмеивает духовенство и нарушает общественное спокойствие!» – объявляет граф Ноттингемский, очень хочется написать, шериф, но нет, министр внутренних дел, требует немедленного ареста смутьяна и объявляет награду за его поимку. Вот тут мы, наконец,

узнаем, как выглядел великий писатель. Предписание об аресте, опубликованное в «Лондон газетт», сообщает: «Это человек среднего роста, около 40 лет. Он носит парик, у него нос крючком и большая родинка возле рта...»

Памфлет Дефо «Как разделаться с диссидентами» в феврале 1703 года публично сожжен лондонским палачом. Типографщик и книгопродавец, который распространил «пасквиль», арестованы. Дефо, чтобы спасти от разорения ни в чем не повинных людей, решился сам отдаться в руки правительства.

Суд приговаривает его к троекратному выставлению у позорного столба и заключению до тех пор, пока сама королева не пожелает освободить его.

Едкий смрад, который источала тюремная клоака, разъедал глаза. Стены Ньюгейта, сжавшие его существование до маленькой камеры с деревянными нарами, дышали сыростью и миазмами чужих страданий. Пристроившись ближе к оконному отверстию, оснащеному крепкими железными решетками, он писал, быстро макая перо в дешевую чернильницу.

Привет тебе, Великая махина!
Ты – государства темное бельмо,
Наказываешь грубо без причины
Позора не достойных твоего!

Дверь приоткрылась, впуслав вопли, рев, проклятия, несущиеся из соседних камер, и стражника, которого заключенный, снабдив мелкой монетой, посылал в тюремный трактир за едой и элем.

– Завтра тебя будут выставлять на площади в Чипсайде, – буркнул он. Дефо протянул руку и в раскрытой ладони тускло блеснул шиллинг – хорошо еще что-то завалилось в кармане.

– Подожди, я сию минуту допишу. Снесешь типографщику!

Здесь, на твоём парадном табурете,
Смотрю на панораму площадей,
Судьбу монархов я увижу в свете
Непостижимых Божеских идей¹⁸.

Угрюмый детина, которого от тех, кого он охранял, можно было отличить только по связке ключей в руке, топтался у двери, сопя и шумно вздыхая, и под его тяжелыми подошвами слой вшей, покрывающий пол камеры, скрипел, как прибрежная галька:

– Ты... это... давай... того... не велено...

Рука в драном кружевном манжете взлетела над листом бумаги, опустилась и вывела: «Гимн позорному столбу».

Позорный столб в Англии обязаны были иметь, согласно парламентскому акту от 1405 года, даже маленькие деревни и города. Те, которым была не по карману установка столба, носили скромное название «местечко», им запрещалось открывать рынок. Наказывали таким образом, как правило, за мелкие нарушения: мясников – за продажу гнилого мяса, тетенок – за сводничество, писак – за острый язык.

Поглядеть на позорный столб – увлекательное занятие для неизбалованной развлечениями публики, а тут – знаменитый журналист, денди, придворный, пусть в замызганном, но

¹⁸ Дефо Даниэль. Гимн позорному столбу.

камзоле – как не бросить в него тухлым яйцом или конским навозом? Когда стража выводила Дефо из тюрьмы, на улице перед входом уже собрался народ. Политики, журналисты, зеваки ждали его, чтобы сопровождать к месту экзекуции. Когда арестанта привязали к столбу и надели на голову ярмо, эти люди окружили его плотным заслоном.

Веревки жгли кожу, шея, вытянутая вперед и зажата в круглом отверстии, ныла, разгоняя боль по всему телу, от затылка по скрюченной спине. Соленые капли текли по лицу: то ли пот, то ли слезы, он зажмурил глаза, снова открыл и мутно глядел, как кружатся вокруг, будто на балу в Банкетном зале нарядные цветастые дамы, кавалеры в пудренных париках, острокопечные крыши Чипсайда, кружится шпиль на колокольне и угрюмый охранник с огромным ржавым ключом больше дома... Юркие мальчишки-разносчики машут желтыми листами и кричат назойливо: «Только из типографии!» А толпа надвигается, окружает его, многоликая, многорукая, танцует и поет смутно знакомые слова: «Привет тебе, Великая Махина!» Что-то мокрое, холодное шлепнуло его по лицу.

«Грязь», – подумал он.

Это были цветы.

* * *

Газета не бывает прибыльным делом, даже такая популярная, какой стала «Ревью»: она выходила три раза в неделю и разлеталась по всей стране. Дефо печатался, наверное, во всех лондонских изданиях. Издал восемьдесят самых разных сочинений только за годы после тюрьмы Ньюгейт, которая, как монументальный знак, отделяла его новую жизнь от счастливого десятилетия свободы. Король, уже четвертый на его веку, Георг Первый Ганноверский, ни слова не говорил по-английски. Оставшись без всякой поддержки, Дефо работает, как каторжник, иногда полностью заполняя столбцы газетного номера своей рукой. Финансовые неудачи следуют одна за другой: «мистер Ревью» попадает в долговую яму, выходит и на другой день снова отправляется туда же по требованию русского посольства, потому что в какой-то статье называет императора Петра Первого сибирским медведем. Наконец его выпускают благодаря связям и тайной, полушпионской работе на правительство, которой он стыдится и скрывает даже от детей... «Наемный писака», назвал его кто-то из ненавистников.

– Наемный писака, – повторил он вслух громко, зло, и пошатнулся, словно сбитый с ног несправедливыми словами. Он успел ухватиться за спинку дубового кресла; медленно, поочередно перехватывая руками опору, подтянул потерявшее уверенность тело и опустился на жесткое сидение. Апоплексический удар, от которого до сих пор кружилась голова и немело лицо – вот что досталось ему в награду за все эти груды бумаги, которые он исписал в своей жизни!

– Унизительное ремесло, – бормотал он, – унизительное ремесло, говорите вы, писать из-за хлеба! Тем хуже для меня, господа, если после всех моих трудов, страданий, опасностей, после всей возбужденной против меня ненависти, после тех унижений, которым мне пришлось подвергаться, я часто не мог добиться этого хлеба... Я пристал к правому делу и твердо держался за него всю мою жизнь! – гневно крикнул старик, словно продолжая спор с невидимыми гонителями, – я не изменял ему, когда подвергался за него гонениям; я не нажил богатств, когда оно торжествовало; и, слава Богу, нет еще такой партии и такого двора во всем христианском мире, которые были бы в состоянии купить меня и заставить изменить этому делу!

Его жизнь, оснащенная, как самый лучший фрегат, счастливыми Божьими дарами: талантом, умом, неукротимой энергией, потерпела крах. Волна несчастий закинула его в эту убогую комнатенку, как в насмешку вернула в нищий приход у ворот Крипл-гейт, туда, откуда он всю жизнь рвался. И вот он лежит здесь в отчаянии, разбитый, униженный, покинутый родными, друзьями и даже недругами, один среди кипучего Лондона, как матрос, заброшенный на необитаемый остров.

* * *

В комнате было холодно. Стекла слегка дрожали, ритмично отзываясь на порывы ветра, сквозняк струйками сочился из оконных щелей и шевелил бумаги, разложенные на столе. Письма, которые он не отправил адресатам, книги, не разрезанные изящным ножиком из слоновой кости, судовые журналы, которые достались ему от врача со шхуны «Ласточка», свернутая в трубочку так и не прочитанная рукопись, которую передал ему в бристольской таверне рослый загорелый моряк, Селькирк...

Он поморщился, словно проверяя, двигается ли онемевшая щека, нетвердой рукой взял со стола рукопись и развернул туго свернутые листы:

«Но теперь, когда я захворал, – прочитал он, медленно водя глазами по крупным, старательно выведенным строчкам, какими всегда пишут малообразованные люди, – моя совесть, так долго спавшая, начала пробуждаться, и мне стало стыдно за свою прошлую жизнь. И я взмолился: “Господи, будь мне помощником, ибо я нахожусь в большой беде!”»

* * *

Роман «Приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка», который Дефо написал за четыре месяца и снес издателю, даже не перечитывая, стал бестселлером. Как шутили уже вдогонку недоброжелатели: каждая домохозяйка считала своим долгом купить книжку Дефо и передать ее по наследству.

В истории мировой литературы практически нет примеров, когда первый и лучший роман рождается у писателя на склоне его жизни. Для восемнадцатого века шестьдесят лет – это уже старость, это уже где-то за пределами жизни. Еще удивительней выглядит полный поворот: от журналистики к литературе, от политики – к религиозным исканиям, от памфлета – к христианскому роману.

«Теперь я оглядывался на свое прошлое с таким омерзением, так ужасался содеянного мною, что душа моя просила у бога только избавления от бремени грехов, на ней тяготевшего и лишившего ее покоя»¹⁹.

Кто из них проговорил эти слова: штурман, умирающий от тропической лихорадки в Новой Гвинее, лондонский памфлетист с онемевшим лицом или выдуманный герой, который станет реальнее для всего мира, чем оба других, его прототип и создатель? Моряк из Йорка, выброшенный на берег необитаемого острова воображением великого писателя, проживает биографию каждого из них: от отчаяния, заброшенности к горечи за годы потерянные, которые «пожрали саранча, черви, жуки и гусеница» (Иоил 2:25), и, наконец, к полной перемене внутреннего состояния.

¹⁹ Дефо Даниэль. Робинзон Крузо / Пер. с англ. М. Шишмарева. – М.: Ридерз Дайджест, 2009.

С тем же напором, с каким Робинзон обращает в христианство своего чернокожего друга Пятницу, с той же энергией Дефо кидается рассказывать читателям о своем религиозном опыте. Вся кутерьма его жизни: горластые пираты, попрошайки прихода Криплгейт, проститутки из бристольских таверн, соседи по тюремной камере, – из всего этого сора, облепившего его жизнь, как ракушки днище корабля, вырастают романы о преобразовании души. «Моль Фландерс», «Славный капитан Синглтон», «Полковник Джек»... словно в награду, Даниель Дефо – публицист, издатель, политик, шпион – в нашей-то памяти, памяти читающего человечества, остался именно христианским писателем.

Одной из последних его книг стал «Семейный наставник», где Дефо писал о религиозном воспитании детей, сожалея глубоко о том, что всего этого он сам не сделал для своих сыновей и дочерей. Король Георг Второй регулярно читал эту книгу на ночь своим детям. Королевским отпрыскам требовалось слушать христианское звучание мира. А советским детишкам знать об этом было совершенно излишне.

Глава 3. Мученик

Мир, который окружал советского человека, молчал. Молчали картины. Неслышно перебирали строчки стихотворцы; как великий немой, молчала рядом с нами великая литература.

Школьники парами чинно шли по залам, рассматривая отрезанные головы на блюде, босые пятки странника, припавшего к коленям старика, мальчика на берегу реки и дяденьку в капюшоне, который положил на лоб ему руку. Учительница выстраивала класс полукругом в зале древнерусской живописи, и иконы молча смотрели на детей. Они-то говорили. Это мы не знали языка.

Обязательный «духовный набор» советского интеллигента: музей, филармония, Пикюль. Все – да – «проходили» в школе литературу, проходили и не улавливали аллюзии второго, третьего плана – да что там третьего! – как вообще можно читать Достоевского и Пушкина, не зная Священного Писания? О чем говорит старец Зосима с Алешей? Кто такой этот шестикрылый серафим, явившийся на перепутье?

Ходили в «культпоход» в театр – и Иоланта пела своему рыцарю «любовные» песенки. Посещали филармонию, и ни один из нас не знал, что Бах писал свои концерты для богослужений.

От нас отсекали все нити, которые связывают с христианством.

В выхолощенном мире литература подменялась начетничеством. Великая живопись превращалась в комиксы. Музыка – в развлечение для профессионалов. Пустая душа заполнялась пустотой. Как осатанелые, мы вытеснили из сознания духовную сферу и смыслом жизни оставили материальные цели. Это началось практически сразу. У бар из усадьбы легко вытащить пианино, но невозможно украсть умение понимать музыку. Можно дом завесить краденными картинами, но ни у кого еще не получалось позаимствовать чувство прекрасного.

Каждая душа, как известно, по природе своей христианка. Что с ней станет, если у нее отнять Христа?

«Вот уже 4-я ночь, как я не сплю. Стыдно показаться людям: такой я невыспанный, растрепанный, жалкий. Пробую писать, ничего не выходит. Совсем разучился. Что делать? Иногда думается: как хорошо умереть»²⁰.

Вид комната имела самый отчаянный. Одеяло, сбитое в ком, свернутые в жгуты простыни, измятые подушки валялись на полу, растопырив четыре угла.

²⁰ Лукьянова И.В. Корней Чуковский. – М.: Молодая гвардия, 2007.

— ...и подушка, как лягушка, как лягушка... — бормотал скрюченный за столом человек в поношенном пальто без пуговиц. Поднятый воротник закрывал голую шею, а длинное, измятое лицо обхвачено было руками, которые торчали из съехавших рукавов чуть ли не до локтя. Волосы патлами свисали на ладони, на лоб, на глаза, которые он то сжимал, то раскрывал во всю ширь, словно силясь высыпать набившийся в них песок. Стол был завален так, что казалось, за ним работает не меньше трех человек: раскрытые книги, бумаги переваливались через край, сползали на пол и разбегались по комнате. Стеариновые пятна лепились на тетрадах, на листах, исчерканных правками, с наклеенными тут и там полосками бумаги — словно карты фантастической местности, по которой нельзя пройти без Вергилия. Удушливый запах брома, казалось, пропитал этого человека до самого основания, так и не принеся, впрочем, ни малейшего облегчения. Сон не шел.

Корней Иванович Чуковский жестоко мучился бессонницей.

«Я представляю из себя уникальное существо: меня можно показывать за деньги — и не сплю, и не зарезался»²¹.

Он тяжело поднялся, опираясь ладонями на стол, и подошел к окну. Непроглядная темень заглотила все, что его окружало: лес, дорожку, домики, — ни в одном не видно было дрожащего мерцания свечи. Он щелкнул костяшками пальцев по окну:

— Давай, проснись, хоть ты составь мне компанию! Даром я тебя все лето кормил!

...Паук развесил свою сеть за оконной рамой, проникнув туда через крошечную дырочку в верхнем углу окна: осколок выпал, наверное, когда раму прибивали к переплету. Роскошная паутина переливалась на солнце всеми цветами радуги, а проворный хозяин с перекрестом на спине сновал вверх-вниз, как матрос по вантам, поджидая добычу. А кто же нарочно будет пробираться сквозь дырку, чтобы попасть, прямо скажем, на обеденный стол?

А мух Корней Иванович приметил давно.

По утрам он любил посидеть на крыльце, подставив лучам воспаленные веки. На деревянных перилах, согретых солнцем, мостились целые стаи насекомых с позолоченными брюшками и жужжали, словно пчелы в улье. Поднявшись, Чуковский ловким движением длинной руки захватил пригоршню мух и одну за другой засунул в дырку в верхнем углу окна.

За лето хозяин паутины растолстел и так привык к ежедневному плотному завтраку, который неизменно поставлял ему Корней Иванович, поднося к окну в специально заведенном для этого дела конверте, что уже не сидел на сигнальной нити, а быстро бежал навстречу кормильцу...

Чуковский стукнул по стеклу еще раз:

— Ну, где ты там?

За окном не было ни движения.

Он отвернулся, раздосадованный, и полой раскрывшегося пальто задел кипу бумаг, которые скользнули, потянув за собою еще какие-то обрывки, свеча качнулась, и тень заскакала на старых ободранных обоях.

Огромные пучеглазые головы, тонкие длинные ноги, узкие, как лопасти пропеллера, крылья, — все плясало, крутилось, сверкая позолоченными брюхами, а в углу, там, где только что лежало скомканное одеяло сидел, набычившись, огромный черный таракан, и его усы шевелились, как радиоантенны, и прищуренные темные глаза смеялись над ним, и подвигались все ближе, ближе...

Принесите-ка мне, звери,
Ваших детушек,

²¹ Чуковский К. Дневник. 1901–1969. — М.: ПРОЗАиК, 2012.

Я сегодня их за ужином
скушаю!

«Когда в тридцатых годах травили “Чуковщину” и запретили мои сказки – и сделали мое имя ругательным, и довели меня до крайней нужды и растерянности, тогда явился некий искуситель (кажется, его звали Ханин) – и стал уговаривать, чтобы я публично покаялся, написал, так сказать, отречение от своих прежних ошибок и заявил бы, что отныне я буду писать правоверные книги – причем дал мне заглавие для них “Веселой Колхозии”. У меня в семье были больные, я был разорен, одинок, доведен до отчаяния и подписал составленную этим подлецом бумагу. В этой бумаге было сказано, что я порицаю свои прежние книги: “Крокодила”, “Мойдодыра”, “Федорино горе”, “Доктора Айболита”, сожалею, что принес ими столько вреда, и даю обязательство: отныне писать в духе соцреализма и создам... “Веселую Колхозию”. Казенная сволочь Ханин, торжествуя победу над истерзанным, больным литератором, напечатал мое отречение в газетах, мои истязатели окружили меня и стали требовать от меня “полновесных идейных произведений”. В голове у меня толпились чудесные сюжеты новых сказок, но эти изуверы убедили меня, что мои сказки действительно никому не нужны – и я не написал ни одной строки. И что хуже всего: от меня отшатнулись мои прежние сторонники. Да и сам я чувствовал себя негодяем. И тут меня постигло возмездие: заболела смертельно Мурочка. В моем отречении, написанном Ханиным, я чуть-чуть-чуть исправил слог стилистически и подписал своим именем...»²²

Если позволено было бы дописать дневниковую запись Корнея Чуковского, то последняя фраза завершилась бы словами: обмакнув перо в собственную кровь.

Как много можно сказать, глядя на этих истерзанных людей из нашего далека!

Можно упрекнуть, что они сами произнесли все слова, которые вызвали на поверхность их жизни пропахшего серой Ханина. Можно вспомнить, что и сам Ханин спустя пару лет упал лицом в хлюпающий кровью пол в подвале Лубянки. Не лишним будет рассказать и о судьбе Лидии Чарской, которая умерла от голода в пустой комнате, где не было ничего, ничегошеньки, ни стула, ни куска хлеба, – только нацарапанный на стене телефон Зощенко. А ведь это он, Корней Иванович Чуковский, первым разоблачил «пошлые» книжки детской писательницы, чью «Княжну Джаваху» читали девочки по всей России наравне с Гоголем и Пушкиным. «Особенно недосыгаема Чарская в пошлости патриото-казарменной: “Мощный Двуглавый Орел”, “Обожаемый Россией монарх”... “христолюбивое воинство”»²³, – писал молодой критик, уничтожая вслед за Чарской и журнал «Задушевное слово» за его религиозное «ханжество», и всю «старорежимную» детскую литературу.

Но нас никто над ними судьями не поставил. Только с горечью и содроганием можем мы смотреть, как ползли на них изо всех углов жуткие хитонические чудовища и правили свои страшные брачные обряды, плава людскую жизнь в единое целое со смертным ужасом, как оживали ночные кошмары и наваливались на все живое своим позолоченным брюхом.

«Выросла целая плеяда “Чуковских”, которые занимаются беспредметным развлечением, – обличает некто Разин в своей статье “Про серого зайчика и пятилетку”. – В книге Чуковского “Мойдодыр” имеются моменты религиозного мировоззрения (“Боже, Боже, что случилось”)).»

²² Лурье С. Евангелие ежа. – Колоколь. – 2002. – № 3.

²³ Чуковский К. Сочинения. – М.: Правда, 1990.

Не станем делать даже осторожные, осмотрительные предположения, что именно мучило Чуковского. Новомодные барбитураты? Боль – что разгромлена жизнь, что он, по его собственным словам, не написал и тысячной доли того, что мог написать? Разочарование во всем, что так бодрило в молодости? Остановимся на свидетельстве очевидца, который явил свою проницательность всему читающему миру.

Евгений Шварц: «Он [Чуковский] бушевал в одиночестве, не находя пути по душе, без настоящего голоса, без любви, без веры...»

...Он упал в кресло, откинувшись на его круглую плетеную спинку, и не выпрямляясь, только вытянув вперед длинную руку, взял со стола книгу в кожаном переплете. На обложке, одетый в высокий малахай, сшитый из козьей шкуры, стоял одинокий человек. Укрывшись от палящего солнца самодельным зонтиком, он смотрел вдаль, в открытое море, нарисованное яркой синей краской, смотрел напряженно, страстно, словно искал там спасительный ответ.

Даниель Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове».

Книга легла на худые мосластые колени и, распахнувшись под небрежным движением пальца, открылась на случайной странице.

«Но теперь, когда я захворал, моя совесть, так долго спавшая, начала пробуждаться, и мне стало стыдно за свою прошлую жизнь. И я взмолился: “Господи, будь мне помощником, ибо я нахожусь в большой беде!”»

– Черт побери! – вскричал Чуковский и с размаху швырнул книгу в тот угол, где бесформенным комком валялось одеяло. – Этого никогда никто не напечатает!

Перевод Чуковского – уникальное произведение. Таких больше нет, учитывая, что книга Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» была переведена на все человеческие языки и не раз. Но ничего подобного не существует. Никому не пришло бы в голову взять ножницы и вырезать из великого христианского романа, из духовной биографии человека, саму суть.

Кем предстает советскому ребенку Робинзон Крузо? Нет, это не хлюпик из старорежимного перевода Марии Шишмаревой, отягощенный религиозными исканиями. Чудак в высокой шапке из козьей шкуры, ремесленник, который умеет при помощи ногтя и палочки построить хижину, развести костер, посадить репку. Бодрый, энергичный оптимист, который не теряет присутствия духа ни при каких обстоятельствах. Атеист, который вместе с дикарем Пятницей смеется над догматами христианской церкви. Приключение, умение выжить, стойкость, человек – покоритель природы – вот «Робинзон Крузо», которого мы знаем с детства.

* * *

«И вот, не спросив ни родительского, ни Божьего благословения, я сел на корабль, отправляющийся в Лондон»²⁴.

Сначала надо было поработать над происхождением. Купеческое сословие – чуждый класс. Сделать отца Робинзона крестьянином или рабочим мануфактуры? Можно. Но не исчезнет главное – драма раскаяния героя в том, что он пренебрег волей отца, нарушил пятую заповедь. Что делать? А вот что. Построить конфликт между идеологически чуждым отцом, который, как и все купцы, заботился только о собственной выгоде, и сыном, который рвется

²⁴ Дефо Даниэль. Робинзон Крузо / Пер. с англ. М. Шишмарева. – М.: Ридерз Дайджест, 2009.

к светлому будущему. У Дефо – отец укоряет и упрасивает молодого человека отказаться от рискованного замысла. Это все надо убрать. Глубоко втянув воздух, словно собираясь нырять, Корней Иванович нацарапал на узкой полоске бумаги: «Горе тебе, если убежишь, – кричит черствый сердитый папаша»²⁵. Смазав обратную сторону бумажки клеем, он приложил ее на зачеркнутую фразу Даниэля Дефо и несколько раз провел сверху пальцем – для верности. Казалось бы, исправление невелико, но оно полностью меняет смысл в правильном, в нужном советскому человеку направлении.

Робинзона охватывает глубокое раскаяние? Пишем: «боялся гибели».

Таак. Буря. Команда корабля перед лицом опасности. Матросы молятся – заменяем: паникуют.

Сама суть книги заключается в том, что герой старается понять смысл своей жизни, во всем уповая на волю Господа. Вот этого не нужно. Чуковский создает образ человека, который всего добивается сам. Приходится уточнять содержание.

Дефо пишет: «Очутившись на земле (после кораблекрушения), возблагодарил Бога за спасение моей жизни, я ходил по берегу, воздевал руки к небу». Этот абсолютно непонятный и бессмысленный с точки зрения советского человека эпизод нуждается в обновлении. Сделаем проще: «Я стал бегать и прыгать, и даже пел и плясал».

Чуковский работает, слово за словом вытравливая из текста все несоветское. Он хорошо выучил урок.

«Боже! – восклицает Крузо, – спасибо, что я добрался до берега». – «Какое чудо, что я добрался в такую погоду до берега».

Следом за своим героем бредет переводчик по острову Хуан Фернандес, травянистые тропы ведут его между редких сосен, к каменистому берегу, по которому быстро, бочком, бегут крабы... Высоко на утесе появился белый силуэт: коза! Робинзон хватает ружье. «Это был первый выстрел, – замечает Дефо, – раздавшийся здесь с сотворения мира». Как бы не так! Правка просится сама: «Это был первый выстрел, раздавшийся в этих диких местах».

Корней Иванович с шумом отпил остывшего чая из стакана и поставил его обратно, словно прижимая серебряным подстаканником ворох исписанных листов. Дефо, наконец, нарушает одиночество своего героя – он встречает молодого человека, аборигена, называет его Пятницей. Задача непростая. Робинзон – представитель английского империализма, и отношения между ним и Пятницей – типичные отношения колонизатора и туземца: белый должен поработить дикаря, ограбить. Упускать эпизод нельзя, надо показать, что первым шагом для порабощения является крещение. «Оставляем», – решает Корней Иванович. Вначале Робинзон поработит Пятницу морально, то есть обращая в христианство. С ограблением труднее – отнять у Пятницы нечего, да и Робинзону ничего не нужно, кроме того, что у него есть, а остров принадлежит обоим в равной степени. Как же быть? Опыт советской антирелигиозной пропаганды услужливо подталкивает к юмористическому решению. Выставим христианство Робинзона в смешном виде. Простой человек, труженик копы, Пятница будет задавать прямые вопросы, вопросы естественного человека, на которые Робинзон, с детства подвергнутый облучению религии, не сможет, однако, найти ответ, будет выкручиваться и юлить. «Вот почему, – бесхитростно спрашивает Пятница, – если Бог такой сильный, как дьявол, почему Бог не убей дьявол, чтобы он не делал больше зла?»

Прищурив один глаз, Чуковский берет ножницы и аккуратно вырезает ответ, который дает читателю Даниэль Дефо: «А ты лучше спроси, – отвечал я, – почему Бог не убил тебя или меня, когда мы делали дурные вещи, оскорбляющие его; нас пощадили, чтобы мы раскаялись и получили прощение».

²⁵ Здесь и далее цит. по: *Дефо Даниэль. Робинзон Крузо* / Пер. с англ. К. Чуковский. – М.: НИГМА, 2013.

* * *

...Однажды во сне он искал нужную дверь, не нашел, упал в яму: «Разбился и проснулся с тем чувством, что и в жизни со мною то же: не знаю, в какую дверь, не знаю, в какую дверь, – и яма»²⁶...

Давайте остановимся на мысли, что Господь видит наши мотивы. Будем верить, что Корней Иванович Чуковский режет ножницами не по страницам любимого романа, а по собственной душе, что, мучаясь ночью в темном доме, он пытается сквозь цензуру спасти, донести до нас весть о Великом Поиске, в который однажды отправились шотландский моряк Александр Селькирк, английский гений Даниель Дефо и Робинзон Крузо из Йорка, обретший душевный покой на острове Отчаяния.

* * *

Краснощекая тетка, перехваченная под мышками клетчатым платком, остановилась у крыльца, освещенного первыми скудными лучами солнца. Гремя бидоном, она подвинула на середину ступеньки стеклянную банку, с вечера выставленную за дверь хозяйкой домика, и белая молочная струя зажурчала под ее руками. Окно первого этажа распахнулась, и оттуда высунулась женщина с коротко стриженными, по-утреннему восторженными волосами.

– Тише, – зашипела она сдавленным шепотом. – Тише! Папа спит!

²⁶ Лукьянова И.В. Корней Чуковский. – М.: Молодая гвардия, 2007.

День военно-морского флота

После пяти похолодало, будто лето внезапно сменилось осенью. Захотелось застегнуть покрепче куртку и обмотать вокруг шеи вязаный шарф. Молодая девушка по имени Мария, с хвостиком, перетянутым на затылке черной резинкой, и рюкзачком, который оттягивал выдвинутые вперед плечи, вышла на рыночную площадь. Продавцы в дурых жилетах, надевших поверх клетчатых рубашек, перекрикивались друг с другом с непонятным йоркширским акцентом и поспешно убирали с прилавков овощи. Багровые обветренные лица, ловкие, грубоватые движения и деревянные лесенки, которые как трапы спускались с кузовов, придавали картине что-то морское; казалось, что они носят вовсе не ящики с мирной капустой, а грузят на борт бригантины сундуки со слоновой костью и золотом.

Девушка миновала мясную лавку с ликующим поросенком на вывеске и оказалась на улице, которая будто выползла откуда-то из Средних веков. Точно подсолнухи, тянулись друг к другу крышами фахверковые домики и нависали вторыми этажами над мостовой. Балки крестами выступали на оштукатуренных стенах, являя деревянную свою фактуру с трещинами такими глубокими, что, казалось, в них можно сунуть ладонь. Не сопротивляясь потоку, Мария двигалась в толпе туристов, покладисто останавливаясь вместе со всеми у мест, особо отмеченных в путеводителе, и ее худенький силуэт мелькал, отражаясь сквозь стекло в зеркальных стенках баров.

Это была ее вторая поездка в Йорк. Утром она вышла из лондонского поезда на вокзале, укрытом металлическими арками, изогнутыми, как ребра доисторического кита, и тотчас, не теряя ни минуты, двинулась по маршруту, который проложила в прошлом году. Мост с белыми розами Йорков. Каменная дорога с пятнами опавших дубовых листьев, еще зеленых, но тронутых по краям ржавчиной, — дорога, которая вела по верху крепостной стены, вдоль зубцов и тесных бойниц. Крутая тесная лестница на верхний этаж замка Ричарда Третьего, где в ряд, как лыжные палки, стоят острые пики с белыми черепами — и каждый подписан не именем, а строчкой в истории.

По дамскому обыкновению, она зацепилась в антикварной лавке. Викторианские очки, круглые и маленькие, будто на ребенка, чашки из разрозненных сервизов, эдвардианская скорбная брошь и колечко с изумрудом, которое едва натянулось на ее тонкий острый палец, — так с прошлого года и лежит, а может, и с прошлого века.

В тот раз именно у этой лавки, у драгоценной россыпи примет чужой жизни, она почувствовала, что замерзла и устала. Не от блуждания по косым улочкам и площадям размером с блюдце, нет, просто всего вдруг стало слишком много, не вместить. Желтый столб света из полуоткрытой двери рассеяно освещал ступеньки, ведущие в паб. Она вошла и очутилась в узком коридоре, от которого расходились маленькие, как коробочки, комнаты с шоколадными стенами и потолками, такими низкими, что хотелось пригнуть голову. Пасмурный газовый свет едва обрисовывал деревянные столы, вокруг которых, сдвинув близко плечи, словно заговорщики, сидели вечерние посетители. Мария пробралась поближе к зажженному камину, к креслу с широким истертым сидением и резной спинкой, которое одно и не было занято.

Приняв в замерзшие ладони чашку с горячим вином, она вдохнула пряный гвоздичный пар, огляделась — и вдруг обнаружила, что попала в дом, где родился и вырос не кто иной, как Гай Фокс. Гравюра на стене изображала человека, который собирался, но не успел поджечь фитиль и взорвать бочки с порохом в подвалах британской власти: высокая шляпа с пряжкой на тулье, плащ, небрежно закинутый через плечо, лукавый взгляд сквозь опущенные темные ресницы.

«Импозантный мужчина, – подумала девушка, скользя глазами по едва различимым словам на стене: заговор, эшафот, петля, – сейчас таких красавцев днем с огнем...»

Первая поездка в Англию поглотила Марию целиком, так, что даже фотографировать не хотелось. Редкое удовольствие – путешествовать одной, ни на кого не отвлекаясь, ни с кем не делаясь впечатлениями. Литературные образы, которые всю жизнь существовали только в воображении книжной девушки, на глазах обретали натуральное воплощение: на перекрестье лондонских магистралей стояла, чуть придавленная соломенной крышей, Лавка древностей, мутные волны Темзы плескались у Ворот предателей, сквозь которые скользила лодка с неудачливой красавицей в красном бархате; блестели по краю кожаного платья ракушки, пришитые рукой принцессы Покахонтас, и косила из-за музейного стекла круглым взглядом голубая птица Додо.

Все, чего не было и вовсе, оказывалось вдруг настоящим, набирало цвет, запах и крепкую плоть.

Гай Фокс с фонарем, белая маска с острыми усиками – то ли страница в учебнике, то ли символ уличных вольнодумцев. А ведь поди же: жил здесь, в этом самом доме. Он спускался по лестнице, придерживая шпагу за эфес, пил из оловянной кружки эль, подвинув поближе к камину резной стул, в овальном зеркале мелькали подозрительные тени, а мать, спрятав руки под фартук, качала головой и жаловалась отцу: опять наш мальчик во что-то ввязался... Где, интересно, Гай хранил свой знаменитый фонарь?

Покинув пороховое гнездо, Мария, верная своему географическому идиотизму, перевернула карту города вверх ногами. Вместо одних ворот она попала в другие, дала круг по темнеющей улице и вернулась в исходную позицию. Белая маска Гая Фокса на вывеске заговорщицки косила пустыми глазницами. Городские ворота, упираясь каменными ногами в римский фундамент, глядели в спину темным проемом – жерло времени, готовое то ли втянуть в наступивший мрак, то ли вытолкнуть, как незваного соглядатая.

Бегущие огоньки над входом в гостиницу «Белая лошадь» поманили электричеством, как привет из родного века. В прокуренном зале с растопыренными мутными люстрами было тесно, пахло дрожжами и еще чем-то кислым. Компания фермеров в клетчатых рубашках билась в бильярд, причем каждый держал в свободной руке по кружке пива, желтой, как фонарь. Протиснувшись к стойке, Мария оперлась локтями о захватанную поверхность и окликнула молоденькую барменшу, которая протирала бокалы:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.